

Российские  
ропилеи

# Михаил ГЕРШЕНЗОН

Избранное.  
Тройственный образ  
совершенства



Российские Пропилеи

Михаил Гершензон

**Избранное. Тройственный  
образ совершенства**

«ЦГИ Принт»

2015

УДК 882  
ББК 84 Р1-4

## **Гершензон М. О.**

Избранное. Тройственный образ совершенства /  
М. О. Гершензон — «ЦГИ Принт», 2015 — (Российские  
Пропилеи)

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, писатель, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель. В том вошли преимущественно философские произведения М. О. Гершензона («Кризис современной культуры», «Тройственный образ совершенства». «Ключ веры» и др.), в которых он в краткой и ясной форме эссе и афоризмов пытался сформулировать результаты своих раздумий о судьбах мира и культуры, как они рисовались современнику трагических событий первой четверти ушедшего XX века. В томе публикуется также обширная переписка с братом («Письма к брату»). Большинство собранных в томе изданий давно стало библиографической редкостью. В томе воспроизводится полная библиография трудов М. О. Гершензона, изданная в 1928 г., дополненная обширным списком последующих изданий самого Гершензона и работ о нем вплоть до 1999 г. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 882  
ББК 84 Р1-4

© Гершензон М. О., 2015  
© ЦГИ Принт, 2015

## Содержание

Кризис современной культуры{ 1 }	6
В. И. Иванов, М. О. Гершензон	17
I	17
II	18
III	19
IV	20
V	23
VI	25
VII	27
VIII	29
IX	32
X	36
XI	39
XII	42
Комментарии	44
Тройственный образ совершенства{99}	48
I	48
II	53
III	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58
Комментарии	

# Михаил Гершензон Избранное. Тройственный образ совершенства



*М. Гершензон.*

## Кризис современной культуры<sup>[1]</sup>

Человек в своем благоденствии зависит не только от внешней природы (зачеркнуто: которая дарит его пищею, теплом и наслаждением, но также грозит ему бесчисленными угрозами). Он подвластен и духу своему, потому что в самом себе носит вместилище необузданных и неизведанных сил. В его душе – ангелы и дьяволы вместе; из моей собственной души звучат мне райские песни, и из нее же, неожиданно для меня, вдруг вырвется страсть, испепеляющая меня, страсть разрушительная, любое исчадие гнева, злости, безумия; и еще темнее для меня дух другого человека, способный в каждую минуту обрушить на меня то волну любви и ласки, то непредвиденную жестокость. И потому человек от первых времен не только силился покорить себе природу, то есть материальные силы: он искони боялся и своего духа, и во все времена стремился подчинить его закону и мере. В долгие века истории не столько усилий было потрачено им на подчинение природы, сколько на обуздание духа, и в разное время было достигнуто многое.

В незапамятную пору, еще не сознавая дел своих, человек ошупью нашел два пути, два способа обуздывать свою волю. Ибо этих способов действительно только два. Можно стремиться либо целостно преобразить своеволие духа в закономерность, стихийный хаос – в гармонию, что есть религиозный путь в широком смысле этого слова; либо можно обуздывать волю частично, подметив отдельные ряды ее проявления и вводя каждый отдельный ряд в определенное русло, в границы; это значит обуздывать ее разумом, уставами, законами: путь рациональный. Человечество издревле шло обоими путями, то есть силилось в своих религиях целостно преображать дух, и в то же время связывало его частично моральными и гражданскими законами. Это были как бы программа-maximum и программа-minimum. Там предносились мысли отдаленная конечная цель – абсолютная гармония духа, – здесь, в естественном нетерпении, человек силился хоть до некоторой степени упорядочить деятельность воли и ее конкретных, повседневных проявлений. И людям во все века была безотчетно ясна нераздельность обоих методов. Как бы далеко мы ни заглядывали назад в темную даль истории, мы не найдем человеческой общины, которая существовала бы без религиозных верований и без твердых правил личного и социального поведения; но на всем этом протяжении конкретные узаконения никогда не утверждали себя чисто утилитарно, рассудочно, но неизменно ставились в подчинение высшим, религиозным заветам. Всякое частное предписание нравственности или права возводилось к некоему целостному иррациональному началу, признавалось либо непосредственным велением божества, либо изволением власти, в божестве почерпавшей право свое. Другими словами, человек инстинктивно, мудростью долгого опыта познал, что внешнее, частичное обуздание воли, какое достигается правилами и законами, может быть очень полезным для ежедневных нужд человека и общества, но бессильно перевоспитать дух в корне и навсегда: для того, чтобы превратить духовный хаос в гармонию, необходима не частичная дрессировка, но целостное воспитание духа, так сказать – органическое лечение его в сердцевине, и самые законы, практически нужные на сегодняшний день, могут почерпнуть свою действенную силу только из общего и целого устремления души к совершенству, подобно тому, как ныне врач, правда, и отдельно лечит наружную сыпь, чтобы устранить мучительный зуд, но существенно подчиняет это внешнее лечение главной заботе своей – коренному лечению самой болезни. Этот правильный метод, только недавно найденный медициной, искони применялся человечеством в его духовных делах, и все, что достигнуто поныне в смысле упорядочения духовной стихии, было достигнуто именно этим двуединым методом, где основной задачей признавалось целостное устройство духа, а рациональной нормировке правил и законов приписывался только прикладной, но не самостоятельный смысл.

XVI век надо считать раздельной линией в истории человечества. Тогда явно наметился перелом, подготовленный, конечно, в предшествовавшие века, и началось то могучее умственное движение, которое, разрастаясь, докатилось до нас и еще держит нас в своей власти. Это новое умозрение последних трех веков, достигшее наивысшего расцвета во второй половине прошлого столетия и ныне господствующее, можно определить как культ научности и основанную на этом культе религию прогресса.

Вокруг человека и в нем самом кишат несметные силы, о которых он вовсе не может быть осведомлен сознательно; эти силы, неуловимые для разума, чрезвычайно энергично действуют в мире, и мы, в нашем бытии и творчестве, ежеминутно сталкиваемся с ними и зависим от них; забывать о них значит впасть в опасную ошибку. Но именно на этот путь вступил культурный мир. Современная культура есть не что иное, как беспредельная рационализация жизни. Разум признал себя единственным органом верного знания и на этом основании требует себе единовластия во всех сферах человеческой деятельности; всякое другое знание, то есть не доказуемое рационально, он отвергает в принципе как ложь, как иллюзию, как субъективность. Как возникло это ослепление? Оно порождено, конечно, громадными открытиями естественных наук и еще более – блестящим подтверждением, которое неизменно дает этим открытиям техника. Если современный человек уже почти бессознательно стремится рационализировать жизнь до конца и бессознательно верит в возможность такой полной рационализации, то эта уверенность есть не что иное, как незаконное обобщение, выведенное из большого числа односторонних, действительно оправдавшихся расчетов разума. И если спросить: почему же люди так легковерно приняли незаконное обобщение, – на это надо ответить так: человек не выносит двоевластия, антиномичности; больше всех материальных благ он дорожит единством сознания как твердой почвой для деятельности. Подобно пушкинскому Сальери, он не может допустить, что в мире царят два разных закона – рациональный и иррациональный, и так как обуревают жажда творчества, а творчество возможно только на основании предварительного расчета, то он склонен игнорировать все силы, все явления, которые не поддаются предусмотрению и учету. Этим он безмерно выигрывает в смелости и уверенности для своих повседневных дел. В течение XIX века научный дух, гордый своими изумительными, но местными завоеваниями, все настойчивее притяжал на господство универсальное, которое ему вовсе не подобает и не по силам, и люди, в своем смелом стремлении к активности, охотно присягали ему на безусловное подданство.

Было признано, что наша цивилизация – прекрасная цивилизация, что все идет как нельзя лучше; еще много несовершенств, много тьмы и страданий, но постепенно зло исчезает и на место неустройства водворяется разумный и справедливый порядок; словом, жизнь безостановочно совершенствуется, история в целом есть прогресс<sup>[2]</sup>. Так верила еще вчера, верит еще сегодня вся масса образованных людей во всех культурных странах, и верить иначе не разрешается никому под страхом насмешки или презрения. Эта вера носила все признаки настоящей религии; ею определялись оценки, ею вдохновлялась вся идеалистическая деятельность, в ней искали и находили утешение души, чувствительные к неправдам мира. Вера эта была крепка и наивна, и не задевали ее ни великие бури, волновавшие философию на протяжении XIX века, ни страстные споры новейшей социологии, так ярко обнаружившие неразрешимую противоречивость идей прогресса. Потому что и возникла эта вера не из отвлеченной мысли, планомерно обобщающей явления, а зародилась одновременно в бесчисленных неискушенных умах как грубо-эмпирический вывод из наблюдений над успехами только материальной культуры. Не сама научная мысль, но ее вульгарный глашатай – философская публицистика позитивизма – услужливо облекла это наивное обобщение в мнимонаучную формулу и тем закрепила его.

Основанием этой религии являлась, как и естественно, вера в благотворность и могущество научного знания как единственной силы, способной преобразить хаотическую реальность

в разумный, целесообразный и справедливый порядок. Вне знания нет прогресса – таков был первый догмат религии прогресса. Почти накануне этой войны, в октябре 1912 года, на последнем международном конгрессе по социологии де Роберти<sup>[3]</sup> уверенно провозглашал: «Внутреннее развитие трех главных отделов знания (то есть наук физико-химических, наук биологических и наук о духе), а также и внешнее, так сказать, развитие его или распространение, проникновение в умы глубоких человеческих масс, – вот единственный и постоянный источник всякого общественного прогресса. Прогресс этот, в своей материальной или в своей духовной форме, уже осуществился в течение истории, в огромном, не поддающемся никакому статистическому вычислению количестве случаев; и ни в одном из них указанная нами сейчас тесная причинная связь (то есть между прогрессом и успехами научного знания) не порвалась и даже не ослабла ни на одну минуту».

Такова была общераспространенная философия истории. Рационалистическая культура сознавала самое себя абсолютным благом и науку – своим творческим началом. Из этого самознания вытекали, разумеется, определенные директивы; научность признавалась высшей, самодовлеющей ценностью, и добра ждали единственно от подчинения жизни науке. Отсюда с логической последовательностью возник тройственный культ нашего времени: культ чистой науки («накопление знания»), культ научной популяризации («распространение знания») и, наконец, культ научной техники, то есть фактического преобразования жизни с помощью знания, начиная с переработки природных тел, кончая социально-политическим реформизмом. Вне этого тройственного метода нет пути, и этот путь безошибочен: он один может вывести человечество из дебрей на светлый простор, в чаемое царство всеобщего благоденствия.

Религия прогресса окончательно окрепла в середине прошлого века, и с тех пор она царит полновластно, даже деспотически. Ее действительное влияние на человечество было необычайно велико – она в конце концов и была не чем иным, как религией активности, внешнего целесообразного действия.

Ее категорический императив гласил: действуй, и именно – действуй на основании точного знания. Она упразднила все другие верования, враждебные безоглядному творчеству, освободила человека от раскаяния за грех и от страха перед неведомым, она отбросила все начала и концы и убедила человека глядеть только на середину, которая ждет его творческого воздействия, чтобы получить жизнь и смысл. С такой верой в душе, так ясно видя впереди заманчивую цель, работалось легко и бодро. Внутри огромного таинственного Божьего мира человечество замкнулось как бы в особый, искусственно огороженный мирок; религия прогресса создала оранжерейную атмосферу, максимально благоприятствовавшую самочинной активности. И точно, в этой оранжерее человеческая активность расцвела за короткое время так пышно, как никогда, и дала богатый плод: наука и техника достигли во всех областях успехов фантастических, – культура гигантски шагнула вперед.

Как же относилось научное умозрение к духу? Теперь оглядываясь на этот заверченный период, мы ясно видим его отличительные черты. Прежде всего, из двух задач, от века предстоящих человеческому сознанию, внешняя совершенно заслонила внутреннюю: вся планомерная деятельность воли и колоссальные усилия масс были направлены на подчинение вещественной природы; гармонизации же духа посвящалось сравнительно ничтожное внимание. Это – первый признак эпохи; с ним неразрывно был связан другой, именно полное отождествление духовной стихии со стихией материальной. Как бы молчаливым соглашением было признано, что мир однороден во всех своих частях и весь насквозь подведомствен разуму в его очищенной, научной форме. Признавалось, что наука способна исследовать и упорядочить все сущее, или по крайней мере все то, что входит в круг человеческого бытия. Нет ничего недоступного разуму, есть только еще не познанное им, и оно будет познано, а следовательно, и преобразовано на рациональных началах; и в этом смысле дух ничем не отличается от материи; так же как материю, необходимо и его предать в ведение науки: она разложит его, опре-

делит в точности его элементы и законы, и на основании этих данных духовная техника уже без труда упорядочит его деятельность. Вот почему XIX век стал веком научной психологии, веком психологического эксперимента и психологической статистики. И все, что в этой области добывала наука, тотчас технически осуществлялось: школа, право, суд, наказание перестраивались на основании научной психологии. А главное, разум полагал самого себя в своем чистом виде панацеей для духа: стоит только сделать человеку достаточную инъекцию стерилизованной разумности, то есть научного знания, – и дух его разом обретет гармонию, станет навсегда свободным от диких страстей, от корысти и злобы. Это был один из коренных догматов той религии: что рациональное, войдя в душу, преобразует ее до дна, претворяет ее хаос в гармонический строй. Отсюда громадный расцвет научной популяризации, вообще просветительства, которым отмечена минувшая эпоха.

Таковыми застал нас XX век. Культурный мир был похож на колоссальную фабрику, где миллионы людей в необходимом разделении труда работали усердно и ловко, веря, что направление и распорядок их труда основаны на принципах строго-обдуманых, непогрешимых, что следовательно, ожидаемый плод их усилий зреет и зреет и несомненно когда-нибудь созреет совсем, – а ведь этим плодом должно было быть не что иное, как всеобщее благоденствие человечества. Эта уверенность была в общем сознании так укоренена, что отдельный рядовой человек из образованной массы уже и не думал о ней вовсе, а исповедовал ее безотчетно.

И вдруг над головами, склоненными в труде, разразилась эта беспрецедентная война, совершился чудовищный взрыв, и фабрика современной культуры лежит в развалинах. Та инстанция, которой принадлежало верховное руководство делом, то есть наука, очевидно допустила какую-то серьезную ошибку в своих выкладках и расчетах. Чего-то очень важного она не предусмотрела.

Эта война сразу приняла такие размеры и такой характер, что ее смысл как мировой катастрофы обнаружился с первых дней. Кажется, новый потоп, но уже не водный, а огненный, послан на землю за беззаконие людей. И самое страшное – то, что война пришла не откуда-нибудь извне, как роковая случайность. Эта черная туча, разразившаяся кровавым ливнем над Европой, скоплась в течение многих лет из безвредных и невидимых глазу испарений земли. В нравственном мире, как и в физическом, есть свой закон сцепления, и порою рассеянный каплями в мире грех собирается в грозные тучи, смывающие города и истребляющие целые царства. Нужно дать себе ясный отчет в этой простой истине, и нужно это для того, чтобы не бледнеть лицемерно или наивно пред ужасом войны, не видеть в ней внезапную напасть и не отрещиваться от ответственности за нее. Теперь минутами с тоскою вспоминаешь милое прошлое. Как было мирно, как уютно! В памяти воскресает скорбный стих Тютчева: «Былое – было ли когда?»<sup>[4]</sup> Правда ли, что был уютный быт усадеб и гостиных, что еще совсем недавно, четыре года назад, так волшебным вставал месяц над мирной землей и утром начинался привычный день, а вечером шел спокойный разговор за чайным столом? Но тотчас мысль сжимает сердце: что теперь бушует над нами, скопилось именно в те мирные дни. Проклятие – не им: им благодарность, – но нашей слепоте тех дней, нашей роковой бесчувственности. За нынешний ужас каждый в прошлом виновен, и по делам теперь каждому нести свою часть кары. Для нынешней катастрофы нам уже поздно каяться и поздно учиться, но надо сознать былую ошибку и научить детей.

Будущие историки несомненно станут рассматривать эту войну как экзамен европейской цивилизации, как генеральный подсчет достигнутых ею успехов. Она явилась как бы зеркалом, в котором культурный человек увидел самого себя. И странно: он увидел себя совсем не таким, каким мыслил себя. Оказалось, что он столетие и больше жил в глубоком заблуждении относительно своей души, ее подлинных желаний и сил, ею движущих. Эта война принесла нам потрясающие откровения о человеческом духе. В будни его не измерить, он согнулся над житейской работой и приноравливает свои движения к закономерным движениям вещества;

он кажется маленьким и смирным. Теперь он распрявился и движется вольно: смотри и мерь. Мы думали, что культурная выучка уже в корне изменила его природу, что он навсегда стал благонравным и сдержанным в движениях, нет! Все тот же неукротимый размах, одним движением смести цветущий город с лица земли, взлелеять адский умысел, и миг затем вспыхнуть жертвенной любовью, побеждающей самую смерть! Гуманность, смягчение нравов, которыми хвалился прогресс, – где они? Таких кровопролитий и насилий, таких орудий убийства и мучительства мир не знал и в самые темные века варварства. Что же? оказывается, научный прогресс несколько не облагородил человека? гуманность была только самообманом? И, наоборот, не самообманом ли была также деловая трезвость культурного европейца, его принципиальный эгоизм и практичность? Ведь оказалось, что он вовсе не таков: он романтик, идеалист! Когда началась эта война, мы думали: самая сложность современной культуры порукою за краткосрочность войны. Продолжительные войны были возможны только в сравнительно примитивных условиях, когда разрушенное войною восстанавливалось легко; но нынешняя культура, этот неопишимо сложный механизм, весь из тончайших и столь хрупких частей, эта мировая ткань торгово-промышленной организации, грозят такими непоправимыми повреждениями в случае долгой войны, что обе стороны, конечно, поспешат прекратить разруху. И вот война длится уже три года. Оказалось, что о наличном достоянии никто не думает, не только мы, но стяжательный Запад. Цветущая, богатейшая индустрия, великолепно налаженные торговые связи, комфорт и красивость – пусть их гибнут и исчезают, им грош цена! Кто мог бы ждать от европейца такого презрения к благам мира сего? Или он в глубине души вовсе не так дорожил ими до войны, как могло казаться? Этот европейец, по уши погруженный в меркантильность, в сноровку и техничность, не только не испугался за свои дорогостоящие и красивые игрушки, – за свои фабрики, конторы и банки, – но моментально, едва раздался зов мировой трубы, словно очнувшись от гипноза, даже с какою-то готовностью повернулся спиной к быту и пошел, куда звала труба. Человек познает себя больше всего в своих проявлениях: сделав, видишь себя впервые в содеянном тобою, как в зеркале.

И точно так же война показала, что изнеженная культура новых веков не развратила, не обессилила человека, что в европейских обществах, с виду столь суетных и извращенных, не иссякла духовная сила, живы доблесть, бесстрашие, самоотвержение предков. За сто лет ни одна война не была отмечена таким героизмом, как эта. Кто поверил бы еще вчера, что эти лавочники, всецело погрязшие в наживе, что журналисты и адвокаты, опошленные, казалось, до дна души, профессора и оперные актеры, обнаружат сегодня героизм, не уступающий отваге павших под Марафоном?<sup>[5]</sup> У Фукидида и Плутарха не много страниц, которые могли бы сравняться по трагической красоте хотя бы только с бельгийским эпизодом этой войны<sup>[6]</sup>.

Чему же учат нас эти новые наблюдения? Они говорят о неподатливости, о консерватизме человеческого духа; они свидетельствуют о том, как мало повлияла на него культурная выучка и в сторону добра, и в сторону зла. XIX век был веком науки и техники; в обеих этих сферах, то есть в исследовании естественных сил и в подчинении их своим нуждам, человечество достигло огромных успехов; благодаря этим успехам трудная жизнь человека на земле стала легче, явилось больше свободы и досуга, – и тем они косвенно содействовали работе духа. Но мы несомненно переоценивали их прямое влияние на нравственную жизнь человека (зачеркнуто: как в смысле повышения, так и в смысле понижения ее уровня). Наука и техника хотят и должны быть объективными, не знать добра и зла; положите пред собою рядом маленькую ампулу спасительной вакцины и смертоносную разрывную пулю: они обе с равным тщанием изготовлены наукой и техникой. Наука и техника дают нам в руки острое оружие: нужно, чтобы нравственное сознание человечества, развивающееся независимо от них, научилось употреблять это оружие только на благо, а не на зло.

Очевидно, цельного прогресса, который обнимал бы всю природу человека, вовсе не было: совершался только прогресс бесчисленных отдельных рядов, но некоторые важнейшие

и опаснейшие силы человеческого духа оставались вне прогресса и даже, может быть, значительно регрессировали. Очевидно, религия научного прогресса была основана на неправильном расчете; она ошибочно признавала, что все бытие исчерпывается явлениями, подведомственными науке, что, следовательно, только об этих явлениях и надо думать, так как по мере их упорядочения будет прогрессивно совершенствоваться вся жизнь целиком. Но оказалось, что и сама наука, и все подчиненное ей управляются иными силами, которые в любую минуту могут послать науку и технику, как рабынь, на самое злое дело, на разрушение всего, что создано прогрессом. То могучие и тайные силы человеческой воли. Наука, привыкшая все исследовать и все дисциплинировать, налагает руку и на человеческий дух; но ей доступна только его периферия, глубинные же его движения ускользают от нее. Их-то не учла религия прогресса и оставила в небрежении.

А там, в недрах духа, шла своя жизнь, совершалась своя невидимая эволюция. Наука умеет искусно определять, как влияют изменения наружной атмосферы на глубоководную жизнь океанов; но что она знает о содроганиях и навыках, какие вызвала в человеческой воле колоссальная внешняя деятельность человека, направленная на «прогресс»? Ясно одно: в слепом увлечении научностью человек позабыл о своей душе; строил и отделял свой дом, пока забытый порох в подвалах не вспыхнул самовозгоранием и не взорвал здания.

Война вышла оттуда, из недр человеческого духа; кто не предвидел взрыва, тот теперь должен понять, откуда взрыв. Теперь все видят, что наука и техника, и все созданное ими – только орудие духа, как топор в руке, что, стало быть, прогресс науки и техники есть ценность только служебная, подчиненная. И многие, быть может – миллионы людей, начнут теперь понимать, что бесконечно важнейшим условием прогресса, то есть подлинного прогресса, а не того, какой прямым путем привел нас к катастрофе, является упорядочение воли в человеке.

Кризис современной культуры, ставший теперь явным, назревал давно. Почва была уже подготовлена, когда разразилась мировая война. Еще в конце XIX века, в самый разгар научно-технических побед, среди завоевателей началось какое-то глухое брожение, наиболее чуткими душами овладевала смутная тревога; так иной человек, жадно стремившийся к богатству, вдруг озирается кругом и сознает суетность своих стяжаний. С начала XX века вера в научный прогресс начала колебаться и в обществе, не столько под влиянием философской мысли и поэзии, которые давно, но тщетно звали на иной путь, сколько в силу непосредственно его опыта. Шаткость ее сказалась в том, что ослабела тирания позитивного общественного мнения, явилась некоторая терпимость; и, кажется, нигде в Европе этот поворот не обнаружился так ясно, как у нас, где широкие круги в короткий срок фактически отпали от недавней веры, как бы вдруг потеряли интерес к ней и с тайным ожиданием стали прислушиваться к другим голосам, звучавшим раньше в пустыне, – к символической поэзии, к призывам интуитивного и религиозного умозрения. Формально все еще остается по-старому, культ прогресса стоит непоколебимо, но твердокаменная убежденность уже потеряла былое обаяние и старая гвардия рационализма с грустью смотрит, как молодежь проходит мимо нее, идет к другим знаменам, пока еще не отдаваясь, только испытывая все, но уже не боясь анафемы.

Можно по-разному пророчествовать о том, в какие конкретные формы отоляется это брожение ближайшим образом, – но общий смысл кризиса ясен, Разум, в своей очищенной, научной форме, захватил единовластие, то есть узурпировал права целостного духа. Он заботился только о самом себе, упорядочивал только себя, и действительно достиг в теории познания значительного благоустройства. И он один законодательствовал. Дух же оставался во тьме, неустроенным и забытым; он, разумеется, действовал в мире, но его проявления были хаотичны, подобны взрывам, и эта война – самый большой и самый яростный взрыв его. Кризис начался тогда, когда целостный дух, так сказать, принципиально, не в бурном действии, восстал против узурпации разума. Это восстание есть только новый этап одного великого дела – вековой борьбы между сущим и должным, между законом и нормой.

Человеческое сознание искони раздвоено и само в себе единоборствует, недоумевая, чем должно регулироваться человеческое поведение: законом природы, который определяет то, что действительно есть, или нормою, которая указывает, что должно быть, хотя этого долженствующего быть в наличности нет. Между этими двумя началами нет принципиального противоречия. В сознании своего выразителя норма также есть закон природы. Провозглашающий норму заявляет: то, что я рекомендую как должное, есть в действительности сущее, но только скрытое пока, не выявленное, – непреложная тенденция жизни; и он противопоставляет эту норму так называемым законам природы не принципиально, а только как знание, основанное на более чутком, более глубоком постижении действительности, – знанию грубому, чисто эмпирическому. Таким образом, в итоге разногласие сводится к вопросу об орудиях познания. Одни, эмпирики, доверяют только показаниям внешних чувств, разумеется очищенным и удостоверенным наукою, и считают надежным только это, чувственно-научное знание; другие заявляют, что такое знание поверхностно и недостаточно, что под периферией, доступной научному изучению, жизнь бездонно-глубока, что, наряду с внешними чувствами, человек обладает еще другими, несравненно более тонкими органами, и что показания этих тонких органов, зачерпывающие вглубь, правда, не поддаются научной обработке, но от того нисколько не менее достоверны, а потому и должны быть непременно учитываемы. И вот первые чертят план будущего на основании научного, вторые на основании интуитивного опыта; первые узаконяют то, что явно есть, вторые – то, что есть подлинно, хотя и не явно. Но и те и другие опираются в своих построениях на реальность – на «закон природы», каким они его видят. Никому не пришло бы на мысль проповедовать то, чего ему хочется, но всякий проповедник убежден, что его устами вещает свою волю сама природа вещей, подлинная реальность.

«Чего я хочу? – Познать себя в отношении к естественному порядку вещей и подчиниться ему»<sup>[7]</sup>. Эти простые слова Эпикура содержат в себе сложный ряд идей. Каждое создание в мире имеет свой особенный закон существования, подчиненный общему закону вселенной; для человека нет ничего важнее, как узнать свой частный закон в составе целостного бытия, чтобы исполнять свой закон и тем сделать свою жизнь осмысленной. Но в том-то и заключается трудность, как узнать свой закон. Я ощущаю и знаю в себе по опыту разнородные и даже противоположные влечения, и мне надо решить, какие из них входят в закон моего существования, то есть соответствуют естественному порядку вещей, и какие уклоняются от него. Вот что говорит Эпикур; и его вопрос предстоит каждому человеку.

От первых проблесков сознания человечество неустанно искало решить этот вопрос, и будет искать, пока не угаснет его сознание. Нет и не будет у человека потребности более острой, более практически неотложной, нежели иметь ответ на этот вопрос. Нужда в таком ответе двойная: невыносимо действовать случайно, и оттого ошибаться, и терпеть неудачи, и быть жертвою своих страстей; и невыносима, во-вторых, бессмысленность жизни, особенно страданий. Получить твердые правила поведения, и понять, если не цель, то, по крайней мере, законность своего существования, смысл зла и страдания, – это нужно нам как воздух для легких, как пища.

С первых же поисков человек уразумел, что закон его существования не может быть самочинным, но неизбежно соподчинен общему закону мировой жизни. В каждом дыхании, в каждом действии мы ощущаем единство и круговую связь мироздания; такой факт ни на минуту не мог остаться скрытым от разума, и он действительно был всегда общепризнан<sup>[8]</sup>. Никогда ни одному человеку не приходило на ум искать свой закон вне мировой связи, как закон совершенно особенный. На низших ступенях развития человек не отделял себя от всего живущего и потому был убежден, что закон его существования тождествен закону всей остальной твари; на высших ступенях, сознав в себе наличность разума, он признал за собою особенное назначение, но подчиненное общему закону, или как бы увидел себя особым концентрическим кругом внутри большого вселенского круга.

Род людской уже тысячелетия знает непреложно, что есть общий закон бытия, что этот общий закон есть единственный правильный путь для каждого отдельного создания, и что всякое отклонение от него карается страданием. Он знает также из незапамятных времен, что есть особенный, соподчиненный закон человеческого существования, и есть особенная, специально-человеческая категория отступлений от закона, а следовательно, и особенная категория специально-человеческих страданий. Отсюда понятие греха; грех есть нарушение не общего мирового закона, а той части его, которая специально присуща человеку. И так глубоко сознавалась всегда органическая включенность человеческого закона в мировой, что люди сплошь и рядом смешивали обе сферы, ища в нравственных движениях причину материальных явлений, например, в грехе – причину болезней, мора и т. п. И от века род людской ищет постигнуть общий закон бытия, чтобы узнать и свой особый закон существования. Если бы каким-нибудь чудом во всех газетах мира была напечатана точная формула мирового закона, так, чтобы уже ни у кого не оставалось ни малейшего сомнения в его достоверности, – всякий человек тотчас знал бы, какие из присущих ему влечений соответствуют естественному миропорядку, какие нет; и желая себе благополучия и душевного мира, он мог бы тотчас начать те пускать в действие, а эти обуздывать.

Но формула нам неизвестна: мы только знаем, что есть закон и что он действует в нас. Он здесь, во мне, он действует чрез какие-то влечения из числа присущих мне. Мировая жизнь – как одна большая река; вся тварь земная уверенно плывет по течению, только человек бьется в водоворотах между камнями, тщетно силясь попасть в русло; и он непрерывно взывает со скорбью: «Господи! Знаю, что есть русло Твое и в нем вечное течение; вразуми меня, как найти его, чтобы и мне поплыть мирно!» Ибо болит тело, израненное камнями, и мутится дух в бесцельном кружении.

Вот почему не было и нет народа без религии, и вот почему нет религии без морали. Смысл всякой религии – тот, что она говорит человеку: «Вот, я открываю тебе закон бытия и в его составе – частный закон человеческий». Другими словами, всякая религия предлагает мирообъемлющую, мирообъяснительную гипотезу, совершенно так, как ученый высказывает частную гипотезу об ограничительной категории мировых явлений. (На полях зачеркнуто: Непреложный или естественный закон бытия – таков во всех религиях смысл слова Бог, все равно, как бы ни формулировался в них этот закон.) Вот сходит Моисей с Синая, и в руках его скрижали откровения. От сего часа верующие знают, как им должно жить и действовать, чтобы их жизнь соответствовала мировому порядку. И Бог Нового Завета, сотворивший внутреннее и внешнее, держащий на учете каждый волос на голове человеческой, – он тоже не что иное, как образ вечного миропорядка, а воля его – непреложный закон бытия. Основатели религий могут быть названы великими естествоиспытателями, ибо они высказывали, каждый, не свои мечты и пожелания, но свое интуитивное знание реально-сущего. Завет о любви к ближнему есть не повеление или совет, а сообщение; он изъясняет, что любовь – природный закон человеческого духа, так что, следуя этому естественному закону, человек живет космически-правильно, а нарушая его, идет вразрез с закономерностью мира. И таковы все религии; их частные заповеди – не что иное, как прикладные выводы из основного тезиса, который есть высказывание о реальной природе вещей. Поразительная уверенность, с какою творцы религий проповедовали свое учение, основана именно на их сознании, что они проповедают объективную истину, что они только констатируют подлинно сущее; каждый же из верующих принимал учение веры потому, что на основании собственного опыта, бесконечно менее богатого, чувствовал правильность предложенного ему истолкования действительности и принимал настолько горячо, насколько чувствовал соответствие истолкования своему опыту. В самом тоне слов учителя есть речательство за достоверность его открытия, потому что тот, кто сам, добросовестно, с открытым вниманием наблюдал факты и убедился, что никакие факты не противоречат его

обобщению, – тот выскажет свою мысль словами простыми, властными и особенными, и под-  
делать эту силу изъяснения невозможно.

Итак, человеку дано двоякое знание, и оба они равно основаны на опыте, но одно – на опыте только внешних, отдельных чувств, другое – на опыте целостном. Атмосферного электричества никто никогда не видел; уверенность физика в реальном существовании этой природной силы основана на учете ее зримых и осязательных проявлений, потому что сила эта, электричество, именно такова, что она проявляется в зримых и осязательных формах. Но в мире есть могучие силы, существующие незримо и неосязаемо; таковы прежде всего силы самого духа человеческого и его незримые движения; эти силы дух познает не путем науки, а непосредственно.

И вот, это высшее, интуитивное знание наше универсально и целостно, тогда как научное знание ограничено и раздроблено; зато научное знание обладает чувственной и логической доказательностью, которой интуитивное знание совершенно лишено. И потому, хотя всякий человек располагает запасом интуитивного знания совершенно так же, как и знанием чувственно-рассудочным, и на каждом шагу бессознательно им руководствуется, но в сознательной, в планомерной своей деятельности люди большей частью доверяют только рациональному знанию, как абсолютно надежному, и пренебрегают свидетельствами своей интуиции, опасаясь неизбежного риска. Но несравненно больший риск кроется в исключительном доверии к чувственному опыту, потому что его знания скудны и поверхностны, от него ускользает структура и направление целого, так что расчет, основанный только на доказуемом знании, непременно ошибочен. Они думают, что непосредственное чувство слепо, и не понимают, что оно только кажется слепым, потому что своей стихийной мудростью оно объемлет целое и не выделяет отчетливо ни одной отдельной черты; и они думают, что мысль зорка, тогда как ее зоркость есть только умение ясно видеть одну черту целого при полной слепоте на все остальное. Люди убеждаются в этом на каждом шагу и терпят бесчисленные страдания за свое упрямство, но все-таки не смеют довериться в пустыне мудрому, хотя и немому вождю, а ищут и идут за речистым проводником, который обследовал самый малый ближайший отрезок дороги и умеет очень точно рассказать о нем.

Этот близорукий бытовой рационализм всегда был более или менее свойствен людям; но только научное умозрение XIX века прочно закрепило его, сообщив ему мнимую санкцию. Наука достигла такой большой точности, что формулы ее оказываются непогрешимыми, и техника, следуя этим формулам, в самом деле безошибочно, почти чудесно приводит к предложенным целям. Поэтому доверие к научности и к разуму вообще как бы даже помимо сознания приобрело характер панического суеверия, асообразно с этим все более отходили в забвение те другие могучие факторы, действие которых нельзя точно формулировать и сразу ввести в расчет, потому что мы обладаем о них лишь смутно-уверенным, нераздельным знанием. Эти иррациональные силы, разумеется, продолжали могущественно действовать, но так как сознание ими не интересовалось и не пыталось их упорядочить, то они действовали слепо, хаотично. Их-то хаотическое действие, обусловленное этим забвением о них, и привело европейскую культуру к катастрофе.

То, о чем я говорю здесь, – не отвлеченность, пригодная только для умозрительных построений. Злободневно не одно вещественное содержание нашего дня – дела войны, произвольства и пр., – но без сравнения более злободневно, без сравнения важнее именно практически – совершающееся незримо в глубине нашего духа. Ибо все человеческое создается из духа наружу и все видимое предопределено внутри; заблуждения духовные, ошибки сознания неукоснительно сказываются во внешнем, в формах видимых и осязаемых, – не так, как мыслит наивный ум, не прямой пеней по тарифу грехов, а незаметными уклонами конкретных фактов, скопляющимися в неожиданное бедствие. Люди ошибаются, думая, что конкретное, причинно-обусловленное – нейтрально; нет, в него вплетены невидимые для нас живые нити

судеб и на далеком расстоянии они уклоняют материю под углом, который уже всем виден. Европейская культура в своем развитии не хотела нынешней войны, но, сама того не зная, готовила ее, накопляла, как тучу над собою, бесчисленными ошибками формулируемых ею законов человеческой деятельности, или вернее, единой ошибкой своего слепого доверия к законам, не к нормам. Теперь всем видно, как далеко уклонилось развитие от того направления, которое, казалось, дальновидно предначертало культурный разум. Культура обанкротилась, основав свое дело на неправильном расчете, потому что она все время учитывала только один ряд данных, и менее важный, не видя, что данные второго ряда все время на малую величину меняли значимость первых; в результате получилась колоссальная ошибка и внешний крах. А ошибки культуры – это частью ошибки отдельных людей, каждого из нас; мы все виновны в том, что считаем только видимое и осязаемое и на этом счете строим наши решения. За эту близорукость мы не только терпим лично в своей судьбе, но и страдаем каждый через бедствия всенародные.

Для меня нет зрелища более поразительного, нежели связь между всемирно-историческими событиями и переживаниями индивидуальной души. Я твердо знаю, я вижу ясно: эта война вызвана молекулярными движениями в миллионах отдельных сознаний. Каждая минута одинокого раздумья о своих личных нравственных ошибках, которому предается студент в своей комнате, каждое ощущение обиды и несправедливости в душе рабочего – суть слагаемые великого итога, который в урочный час неминуемо подведется – реформой, революцией, войною. От всякой отдельной души идут нити к маховому колесу истории, и только они своим совокупным натяжением двигают его. Здесь нет непризванных и нет праздных: каждый из нас, хочет он или не хочет, неизбежно участвует в коллективном творчестве.

Человек живет отдельно, заботится только о себе да о близких своих, и вовсе не думает, что от его поведения в некоторой степени зависит целое, что он несет ответственность за судьбы своего народа и за ход истории, и я полагаю, что в общем это правильно. Разве лучше было бы, если бы каждый сознавал повседневно свою причастность к общему делу? Такое сознание обязывало бы; оно связывало бы человека и неминуемо приводило бы его на службу определенной идее. Может быть в нормальных условиях для целого выгоднее как раз оставлять личность на свободе, давать полный простор ее самочинной игре. Ведь целому не к спеху, а в личной свободе – огромное напряжение и бездна находчивости. Пусть движение целого и замедляется противоборством индивидуальных стремлений, зато как широко и глубоко они разрабатывают общее русло! Все великое рождается в личности свободной, обращенной на самое себя. Спиноза создал свою философию не затем, чтобы содействовать нравственному совершенствованию человечества, а потому что искал для самого себя определить, как ему прожить свою земную жизнь, и Рафаэль себе давал отчет в своем постижении божества, когда писал Сикстинскую Мадонну, а Толстой, всю жизнь делавший только свою эгоистическую работу, вовсе и не скрывал этого, но так прямо и сказал: «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть»<sup>[9]</sup>. Личная жизнь неизбежно сама собою внесет свою долю в общий итог, но пусть это участие будет ее свободным результатом, а не скудным плодом преднамеренного расчета. В такие органические дела, как сложность целой жизни, не следует вносить рассудочность.

Но сама личность, ради собственного своего устройства, должна учиться у коллективного опыта. Помимо нашего сознания в нашей душе накапливается какое-то большое и важное знание, из которого мы можем осмыслить только крупинцы. Всякая жизнь, даже самая однообразная, отлагает в душе некую мудрость; но есть разница между жизнью богатой событиями, и жизнью скудной. Нам грех жаловаться – биография нашего поколения будет очень ярка; и если мы в такой жизни мало научимся, это будет уже наша вина: значит, мы не сумели раскрыться, значит, мы по лени или робости заперли наши души перед влиянием событий. От истории при известных условиях легко загородиться чем угодно – семейным уютом, своей профессией, каким-нибудь социальным интересом, или даже просто новым романом. Так иной, когда мол-

нии бороздят ночь и гром разрывается грозными раскатами, боязливо запирает двери и окна и, спустив занавески, силится за книгой забыть о грозе. От исторических гроз нельзя прятаться. Я сказал бы каждому в наши грозные дни: смотри каждый широко раскрытыми глазами, не отвращай твоего лица от зрелища мировых судеб, чтобы и ты узнал то, чему оно учит.

## **В. И. Иванов, М. О. Гершензон** **Переписка из двух углов**

### **I** **М. О. Гершензону**

Знаю, дорогой друг мой и сосед по углу нашей общей комнаты, что вы усомнились в личном бессмертии и в личном Боге. И не мне, казалось бы, отстаивать перед вами права личности на ее метафизическое признание и возвеличение. Ибо, поистине, я не чувствую в себе самом ничего, могущего притязать на вечную жизнь. Ничего, кроме того, что уже во всяком случае не я, кроме того всеобщего и вселенского во мне, что связует и духовно осмысливает, как некий светлый гость, мое ограниченное и неизбежно-временное существование во всей сложности его причудливого и случайного состава. Но мне кажется все же, что этот гость не даром посетил меня и во мне «обитель сотворил»<sup>[10]</sup>. Цель его, думается мне, одарить гостеприимца непонятным моему рассудку бессмертием. Моя личность бессмертна не потому, что она уже есть, но потому, что призвана к возникновению. И как всякое возникновение, как мое рождение в этот мир, – оно представляется мне прямым чудом. Ясно вижу, что не найти мне в моей мнимой личности и ее многообразных выражениях ни одного атома подобного хотя бы только зародышу самостоятельного истинного (то есть вечного) бытия. Я – семя, умершее в земле; но смерть семени – условие его оживления<sup>[11]</sup>. Бог меня воскресил, потому что Он со мною. Я знаю его в себе, как темное рождающее лоно, как то вечно высшее, чем преодолевается самое лучшее и священнейшее во мне, как живой бытийственный принцип, более содержательный, чем я, и потому содержащий, в ряду других моих сил и признаков, и признак личного сознания, мне присущий. Из Него я возник и во мне Он пребывает. И если не покинет меня, то создаст и формы Своего дальнейшего во мне пребывания, то есть мою личность. Бог не только создал меня, но и создает непрерывно, и еще создаст. Ибо, конечно, желает, чтобы и я создавал Его в себе и впредь, как создавал доселе. Не может быть нисхождения без вольного притяия; оба подвига в некотором смысле равноценны, и приемлющее становится равным по достоинству нисходящему. Не может Бог меня покинуть, если я не покину Его. Итак, внутренний закон любви, в нас начертанный (так как мы без труда читаем его незримую скрижаль), – уверяет нас, что прав ветхозаветный псалмопевец, когда он говорит Богу: «Ты не оставишь души моей во аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление»<sup>[12]</sup>, – Вот о чем, добрый сосед, думаю я про себя в своем углу, так как вы пожелали это знать. А Вы что скажете мне в ответ из другого угла того же квадрата?

*В.И.*

*17 июня 1920 г.*

## II В. И. Иванову

Нет, В.И., не усомнился я в личном бессмертии и, подобно вам, знаю личность вместилищем подлинной реальности. Но об этих вещах, мне кажется, не надо ни говорить, ни думать. Мы с вами, дорогой друг, диагональны не только по комнате, но и по духу. Я не люблю возноситься мыслью на высоты метафизики, хотя люблюсь вашим плавным парением над ними. Эти запредельные умозрения, неизменно слагающиеся в системы по законам логической связи, это заоблачное зодчество, которому так усердно предаются столь многие в нашем кругу, – признаюсь, оно кажется мне праздным и безнадежным делом. Больше того, меня тяготит вся эта отвлеченность, и не она одна: в последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу подчас, но ненадолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинуться в Лету<sup>[13]</sup>, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах и как легко без них. Почему это чувство окрепло во мне, я не знаю. Может быть, мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы на нас и удобно облегали тело; когда же, в эти годы, они изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь.

*М.Г.*

### III

## М. О. Гершензону

Я не зодчий систем, милый М.О., но не принадлежу и к тем запуганным, которые все изреченное мнят ложью<sup>[14]</sup>. Я привык бродить в «лесу символов»<sup>[15]</sup>, и мне понятен символизм в слове не менее, чем в поцелуе любви. Есть внутреннему опыту словесное знаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголят уста<sup>[16]</sup>. Ничем лучшим не могут одарить друг друга люди, чем уверяющим ясновидением своих хотя бы только предчувствий или начатков высшего, духовнейшего сознания. Одного надлежит остерегаться: как бы не придать этим сообщениям, этим признаниям характер принудительности, то есть не обратиться их в достояние рассудка. Последний принудителен по своей природе: дух же дышит, где хочет<sup>[17]</sup>. Духовными должны быть слова-символы о внутреннем опыте личности и воистину чадами свободы. Как песня поэта не принуждает, но движет, так и они двигать должны дух слушающих, а не подчинять их убеждение, подобно доказанной теореме. Гордость и властолюбие – вина метафизики, вина трагичная, ибо, выделившись из лона целостного духовного знания, уйдя из отчего дома первоначальной религии, она неизбежно должна была восхотеть наукообразия и домогаться скиптра великой принудительницы – науки<sup>[18]</sup>. И то умонастроение, какое вами в настоящее время так мучительно владеет, – обостренное чувство непомерной тяготы влекомого нами культурного наследия, – существенно проистекает из переживания культуры не как живой сокровищницы даров, но как системы тончайших принуждений. Неудивительно: ведь культура именно и стремилась к тому, чтобы стать системой принуждений. Для меня же она – лестница Эроса и иерархия благоговений. И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне благоговение, от человека и орудий его, и великого труда его, и поруганного достоинства его, до минерала, – что мне сладостно тонуть в этом море («*naufgar mi e dolce in questo mare*»<sup>[19]</sup>) – тонуть в Боге. Ибо благоговения мои свободны, – ни одно не обязательно, и каждое открыто и доступно, и каждое осчастлиливает мой дух. Правда, каждое благоговение, переходя в любовь, открывает зорким взглядом любви внутреннюю трагедию и вину трагическую во всем, отлучившемся от источников бытия и в себе обособившемся: под каждую розою жизни вырисовывается крест, из которого она процвела. Но это уже тоска по Боге – влечение бабочки-души к огненной смерти<sup>[20]</sup>. Кто не знает этого основного влечения, тот, по правдивому слову Гёте, другою, постылою тоскою болен, хотя бы не снимал с себя маски веселости: он «унылый гость на темной земле»<sup>[21]</sup>. Наша истинная свобода, наше благороднейшее счастье и благороднейшее страдание всегда с нами, и никакая культура у нас его не отнимет. Немощь плоти страшней, ибо дух бодр, а плоть немощна<sup>[22]</sup>; беззащитнее человек перед нуждой и болезнью, нежели перед мертвыми идолами. Не страшнет он с плеч ненавистного ига мертвящей преемственности, отменив ее насильственно, потому что она вырастет на нем сама собою снова, – как горб неразлучен с верблюдом и тогда, когда он скинул со спины вычный груз, – но освобождается от этого ига дух – только взяв на себя иное, «легкое иго»<sup>[23]</sup>. Право говорите вы поработанному собственными богатствами человеку: «стань (werde)», но, кажется забываете Гётево условие: «сначала умри – (stirb und werde)»<sup>[24]</sup>. Смерть же, то есть перерождение личности, и есть его вожделенное освобождение. Умойся ключевой водой – и сори. Это возможно всегда, в любое утро повседневно пробуждающегося духа.

*19 июня 1920 г. В.И.*

## IV В. И. Иванову

Наша случайно начавшаяся переписка из угла в угол начинает меня занимать. Вы помните: в мое отсутствие вы написали мне первое письмо и, уходя, оставили его на моем столе; и я отвечал вам на него, когда вас не было дома. Теперь я пишу при вас, пока вы в тихом раздумьи силитесь мыслью разглядеть жесткие вековые складки Дантовых терцин, чтобы затем, глядя на образец, лепить в русском стихе их подобие. Пишу, потому что так полнее скажется, так и раздельнее воспримется мысль, как звук среди тишины. А после обеда мы ляжем каждый на свою кровать, вы с листом, я с маленькой книжкой в кожаном переплете, и вы станете читать мне ваш перевод «Чистилища»<sup>[25]</sup> – плод утреннего труда, а я буду сверять и спорить. И нынче снова, как в прежние дни, я упьюсь густым медом ваших стихов, но и снова испытаю знакомое щемящее чувство.

О, друг мой, лебедь Аполлона! Почему же было так ярко чувство, почему мысль была так свежа и слово существенно – тогда, в четырнадцатом веке, и почему наши мысли и чувства так бледны, наша речь словно заткана паутиной? Вы хорошо сказали о метафизике, как системе едва ощутимых принуждений; но ведь я говорю о другом – о всей целостной культуре нашей и о тончайших испарениях, которыми она пропитала всю ткань бытия, не о принуждениях, а о соблазнах, растливших, ослабивших, исказивших наш дух. И даже не об этом, не о следствиях и вреде культуры, потому что оценивать пользу или вред есть дело рассудка, а всякий довод, подъемлющий меч, от меча погибает<sup>[26]</sup>. Можем ли мы в этом деле доверять нашему уму, когда твердо знаем, что сам он взращен культурой и естественно поклоняется ей, как бездарный раб – возвысившему его господину?

Иной, неподкупный судья, возвысил во мне свой голос. Устал ли я нести непосильное бремя, или из-под спуда знаний и навыков просиял мой первозданный дух, – мне изнутри сказалось и прочно стало во мне простое чувство, такое же неоспоримое, как чувство голода или боли. Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние – полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности<sup>[27]</sup>. Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит. Это знание не я добыл в живом опыте; оно общее и чужое, от пращуров и предков; оно соблазном доказательности проникло в мой ум и наполнило его. И потому, что оно общее, сверхлично-доказанное, его бесспорность леденит мою душу. Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? Огромное большинство их мне вовсе не нужно. В любви и страдании мне их не надо, не ими я в роковых ошибках и нечаянных достижениях медленно постигаю мое назначение, и в смертный час я, конечно, не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум, они тут во всякий миг моей жизни и пыльной завесой стоят между мною и моей радостью, моей болью, каждым моим помыслом. От этого несметного безличного знания, от усвоенных памятью бесчисленных умозрений, истин, гипотез, правил мышления и нравственных законов, от всего этого груза накопленных умственных богатств, которыми каждый из нас нагружен, – то изнеможение, какое сдает нас. Вспомните хотя бы только одно: учение о вещи в себе и явлении. Великий Кант открыл, что о самой вещи мы ничего не знаем, все же признаки ее, воспринимаемые нами, суть наши представления<sup>[28]</sup>. Шопенгауэр упрочил эту истину, доказав с очевидностью, что мы совершенно заключены в себе и не имеем никаких средств выйти за пределы нашего сознания и соприкоснуться с миром<sup>[29]</sup>. Вещь сама по себе не познаваема; познавая мир, мы познаем лишь явления и законы нашего духа; мы только воображаем или грезим внешний мир – его вовсе нет, наш воспринимающий аппарат – единственная реальность. Это открытие было логически неотразимо. Как свет в ночи вспыхнула истина, и сознание должно было беспрекословно под-

чиниться ей. Совершился величайший переворот в умах: вещи, люди, я сам, как тварь, словом, вся действительность, раньше такая плотная и осязаемая, все внезапно точно поднялось в воздух на фут от земли и просквозило призрачностью. Нет ничего существенного: все, что кажется сущим – только планомерно созидаемые миражи, которыми наш дух, Бог весть зачем, населяет пустоту. Сто лет господствовала эта доктрина и глубоко изменила сознание людей. И вот, ей пришел конец; как-то незаметно она потеряла силу, потускнела и выдохлась; философы осмелились встать на защиту древнего наивного опыта, внешнему миру снова возвращена его непререкаемая реальность, а от ослепительного открытия уцелел только его скромный зачаток: та истина, обнаруженная Кантом, что формальные категории нашего познания, категории времени, пространства и причинности, – не реальны, а идеальны, присущи не миру, а сознанию и им накладываются на опыт, как линейная сеть на ландкарту. Теперь столетний морок прошел – но какие страшные следы он оставил по себе! Кошмар призрачности все еще обволакивает разум паутиной безумия. Человек возвращается к ощущению реального бытия, как выздоравливающий после тяжкого недуга, с болезненным и тревожным чувством, не сон ли все предстоящее. Так отвлеченный разум в лабораториях науки вырабатывает знания и системы, непогрешимые для него, но чужеродные духу, и когда подобная истина, что неизбежно, со временем разрывается по швам и спадает, – мы с тоскою спрашиваем себя: зачем она столько лет пеленала умы и стесняла свободу их движения? Как вещи, продаваемые в лавках, соблазняют нас своей миловидностью и удобством, так идеи и знания соблазняют нас праздным соблазном, и наш дух стал так же перегружен ими, как наши дома вещами. Идея и знание плодотворны для меня, когда они естественно родились во мне из моего личного опыта или когда я ощутил неодолимую потребность в них, а усвоенные извне и без естественной потребности они подобны гуттаперчевым воротничкам, зонтам, калошам и часам, которые надевает на себя, выменяв у европейца, голый негр в джунглях Африки. И вот я говорю: мне скучно от обилия фабричных вещей в моем доме, но бесконечно больше меня тяготит нажитая загроможденность моего духа. Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, и впридачу еще те, что я сам сумел надстроить на них, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное, простейшее знание, свежее, как летнее утро.

Повторяю, дело не в принудительности, о которой вы пишете, но в соблазне; а соблазн принудительнее насилия. Отвлеченный разум соблазном объективной истины навязывает личности свои открытия. Вы говорите: скинув груз, мы неизбежно начнем снова копить его и обречем себя снова. Так, спора нет – нам не избыть своего разума и не изменить его природы. Но знаю и верю, что возможны иное творчество и другая культура, не замуравливающие каждое познание в догмат, не высушивающие всякое благо в мумию и всякую ценность в фетиш. Ведь я не один, – в этих каменных стенах задыхаются многие – и вы, поэт, разве ужились бы здесь без ропота, когда бы не пал вам на долю счастливый дар – хоть изредка и ненадолго улетать вдохновением за стены – в вольный простор, в сферу духа? Я с завистью слежу глазами ваши взлеты, ваши и других современных поэтов: есть простор и есть у человечества крылья! Но глаза мои, – или это их вина? – видят и другое: отяжелели крылья и невысоки взлеты Аполлоновых лебедей. Да и как сохранить поэту силу и свежесть врожденного вдохновения в наше просвещенное время? К тридцати годам он прочитал столько книг, так много беседовал на философские темы, так насыщен отвлеченной умственностью своего круга!

И тут я отвечу кстати на ваш последний призыв. То перерождение личности, истинное освобождение ее, о котором вы говорите в конце, *Flammentod Gëte*<sup>[30]</sup>, есть тоже порыв и взлет ума, сродный вдохновению поэтов, но несравненно более смелый и решительный. Оттого-то так редки подобные события в наши дни, еще несравненно реже гениальных созданий искусства. «Культурное наследие» давит на личность тяжестью 60 атмосфер и больше – и иго его, в силу соблазна, есть подлинно – легкое иго; большинство совсем не чувствует его, а кто почувствует и рванется вверх – попробуй он прорваться сквозь толщу! Ибо вся она – не над его

головой, но в нем самом; он просто сам тяжел, и разве только крылья гения могут поднять его дух над его отяжелелым сознанием<sup>[31]</sup>.

*М.Г.*

## V

### М. О. Гершензону

Дорогой друг мой, мы пребываем в одной культурной среде, как обитаем в одной комнате, где есть у каждого свой угол, но широкое окно одно, и одна дверь. Есть, вместе с тем, у каждого из нас и свое постоянное жилище, которое вы, как и я, охотно обменяли бы на иную обитель, под другим небом. Пребывание в одной среде не одинаково для всех жильцов ее и гостей. В одной стихии плавают растворимое вещество и жидкое масло, растут водоросль, коралл и жемчужина, движутся рыба, и кит, и летучая рыба, дельфин и амфибия, и ловец жемчужин – водолаз. Мне кажется, – или же, оговорюсь в свою очередь, «это вина моих глаз», – вы не мыслите пребывания в культуре без существенного с нею слияния. Мне же думается, что сознание может быть всецело имманентным культуре, но может быть и частью лишь имманентным ей, частью же трансцендентным, – что, впрочем, и показать легко на особенно важном в связи беседы нашей примере. Человек, верующий в Бога, ни за что не согласится признать свое верование частью культуры; человек же, закрепощенный в культуре, неизбежно сочтет последнее за культурный феномен, как бы ни определял он ближе его природу, – как унаследованное ли представление и исторически обусловленный психологизм, или как метафизику и поэзию, или как социоморфический двигатель и нравственную ценность. Все, что угодно усмотрит он в этой вере, но непременно введет ее в объемлющий для него всю жизнь духа круг явлений культуры и никогда не согласится с верующим, что его вера есть нечто культуре внеположное, самостоятельное, простое и первоначальное, *непосредственно* связующее его личность с бытием абсолютным. Ибо для верующего его вера по существу отдельна от культуры, как отдельна от нее природа, как отдельна любовь<sup>[32]</sup>... Итак?

Итак, от факта веры нашей в абсолютное, что не есть уже культура, зависит свобода внутренняя, – она же сама жизнь, – или наше внутреннее рабствование перед культурой, давно безбожною в принципе, ибо замкнувшею человека (как это окончательно провозгласил Кант) в нем самом. Верую одной, – то есть принципиальным отречением от грехопадения культуры, – преодолевается столь живо ощущаемый вами ее «соблазн». Но не искоренится первородный грех поверхностным разрушением его внешних следов и оказательств. Разучиться грамоте и изгнать Муз (говоря словами Платона)<sup>[33]</sup> – было бы только паллиативом: опять выступят письменна, и их свитки отобразят снова то же неизменное умоначертание прикованных к скале узников Платоновой пещеры<sup>[34]</sup>. Мечта Руссо проистекала из его безверия. Напротив, жить в Боге значит уже не жить всецело в относительной человеческой культуре, но некоею частью существа вырастать из нее наружу, на волю. Жизнь в Боге – воистину жизнь, то есть движение; это духовное возрастание, лестница небесная, нагорный путь. Довольно выйти на дорогу, найти тропу; остальное приложится само собой. Сами собой передвинутся окружающие предметы, отдалятся голоса, раскинутся новые кругозоры. Дверь на волю одна для всех, совместно обитающих в одном затворе, и всегда отперта. Вышел один, за ним последует другой. Быть может, и все потянутся друг за другом. Без веры в Бога человечество не обретет утерянной свежести. Напрасно сбрасывать с себя устарелые одежды, нужно скинуть ветхого Адама<sup>[35]</sup>. Молодит только вода живая. И предносящийся вам образ обновленного общежития «без Муз и письмен», как бы прельстителен он ни был – обманчивое сновидение и *decadence*<sup>[36]</sup>, как всякий руссоизм, если грезящийся вам людской сонм не молитвенная община, а новые всходы таких же порченных, как мы сами.

Если бы вы сказали мне в ответ, что, как бы то ни было, самый процесс нового делания культуры, начертания новых знаков на *tabula rasa*<sup>[37]</sup> человеческой души обеспечивает человечеству на долгие времена обновленную свежесть творчества, непосредственность мироощущения, возврат молодости, – одно мне оставалось бы: пожать плечами, дивясь глубокому

оптимизму вашего предлагаемого ответа, проистекающего из свойственного веку Руссо непонимания той роковой истины, что самые истоки духовно-душевной жизни отравлены, что орфическое и библейское утверждение некоего изначального «грехопадения» – увы, не ложь. Разговор наш в этом случае напомнил бы другой, древний разговор, о котором повествует в «Тимее» Платон: собеседниками были Солон и египетский жрец. «Вы дети, эллины, и старца нет меж вас», – говорил первому второй. Периодические потопы и пожары опустошали лицо земли, но люди в населенных эллинами землях возрождались «без Муз и письмен», ἀμουσοὶ καὶ ἀγράμματοι, после этих разрушительных судорог земли, чтобы опять начинать свое переходящее строительство, – между тем как священный Нил спасал неподвижный Египет, сохранивший на своих вековечных скрижалях древнюю память о забытых эллинами отцах, великом и славном роде людей, свергшем иго незапамятной Атлантиды<sup>[38]</sup>. Милый мой совопросник!<sup>[39]</sup> подобно тому египтянину и его эллинскому ученику, и самому Платону, я благочестиво воскурю свой фимиам на алтаре Памяти, матери Муз<sup>[40]</sup>, славлю ее, как «бессмертия залог, венец сознанья», и уверен, что ни один шаг по лестнице духовного восхождения невозможен без шага вниз, по ступеням, ведущим в ее подземные сокровища: чем выше ветви, тем глубже корни.

Если же бы вы ответили мне, что не беретесь или даже не чувствуете себя вправе предрешать содержание будущего умоначертания людей обновленной культуры, что вы просто переживаете за себя самого и за потомков насущную потребность выйти из-под душных сводов на воздушный простор, не зная и не желая знать, что доведется вам и им встретить за оградой покинутой тюрьмы, то выразили бы этим и свое фаталистическое безучастие в деле предуготовления путей свободы, и последнее отчаяние в собственном освобождении. Да не будет так!

*30 июня. В.И.*

## VI

### В. И. Иванову

Соседушка, мой свет<sup>[41]</sup>, напрасно маните вы меня ласковыми увещаниями покинуть мой угол и перебраться в ваш. Ваш угол – тоже угол, замкнутый стенами, – свободы в нем нет. Вы говорите: пусть только человек культуры предается вере, он уже существенно свободен. Я отвечаю: частью он, обремененный культурным наследием, неспособен воспарить к абсолютному, если же и присуща ему вера, она делит участь всех его душевных состояний: она заражена рефлексией, искажена и бессильна. Повторяю, что писал вам прошлый раз: наше сознание не может стать трансцендентным культуре, или разве только в редких, исключительных случаях. Смотрите, как бьется в тенетах наш друг Шестов<sup>[42]</sup>. Сколько раз мы говорили с вами о нем с любовью! Он ли не прозрел пустоту умозрений, мертвящий догматизм идей и систем? он ли не алчет свободы? Его тоскующий дух беспомощно рвется вон; то силится распутать узлы догматического мышления, спеленавшего человечество, то с увлечением рассказывает о минутных прорывах, удавшихся тому или другому, Ницше или Достоевскому, Ибсену и Толстому, и об их плачевных падениях назад в тюрьму<sup>[43]</sup>. С ядом в крови, с изнеможением в кости нельзя выйти на свободу. И вера, и любовь, и вдохновение, все, что способно освободить дух, – все в нас заражено и болезненно, и потому не освобождает. Как вы хотите, чтобы на почве, заваленной глыбами вековых умонастроений и систем, несметными осколками древних, старых и новых идей, установленной в беспорядке мавзолеями «духовных ценностей» – непререкаемых ценностей веры, мысли, искусства, – чтобы на такой почве взрастали могучие дубы и нежные фиалки? На ней прозябнут разве чахлый и жестокий куст, да плющ развалин.

Но я хотел говорить не об этом. Вы правы: я вовсе не знаю и не хочу знать, что встретит человек «за оградой покинутой тюрьмы», и откровенно признаю мое полнейшее безучастие «в деле предуготовления путей свободы»<sup>[44]</sup>: все это, мой друг, умозрения, опять умозрения. С меня довольно и тех, которыми насыщен воздух вокруг меня и мой собственный рассудок. Мне не до умствований. Я просто, как вы говорите, чувствую насущную потребность свободы для моего духа или сознания, как, впрочем, какой-нибудь грек шестого<sup>[45]</sup> века чувствовал себя мучительно опутанным чрезмерной множественностью божеств своего Олимпа, их утвержденными свойствами и притязаниями, пышным обилием освященных мифов и религиозного культа – как, может быть, иной австралиец задыхается в душной атмосфере своего пугающего анимизма, тотемизма, внутренне не имея сил освободиться от них. За оградой тюрьмы тому греку грезилось, может быть, свободное стояние перед единым всемирным, безличным Богом, которого провидела его душа, тому австралийцу – свобода и беспечность духа, не подавленного страхом, и свободный выбор жены, не стесненный тотемическими запретами. Ни тот, ни другой не могли бы выразить своей положительной мечты и надежды. Кто хочет освободиться, видит только преграду и провозглашает только свое отрицание; но он борется и отрицает всегда «во имя», в нем уже созрел положительный идеал, который один дает ему страсть и силу бороться. Этот идеал смутен и неизречен: только такой движет волю; ясно сознанный и выразимый идеал есть система еле живых, слабо движущих, четких идей, – продукт распада. Чего я хочу? Хочу свободы сознания и исканий, хочу первоначальной свежести духа, чтобы идти где вздумается, неистоптанными дорогами, неисхоженными тропами, во-первых, потому, что это было бы весело, и, во-вторых, потому, что – кто знает? – может быть, на новых путях мы больше найдем. Но нет: главное потому, что здесь скучно, как в нашей здравнице. Хочется в луга и леса. Я не только хочу – я твердо верю, что так будет; иначе откуда во мне это чувство? Подлинность и сила моего чувства – порука мне в том, что так будет. Вы знаете: от пресмыкающихся произошли птицы; мое чувство – как некогда жжение и зуд в плечах у амфибии, когда впервые зарождались крылья. Смутная греза того грека и того австралийца были предвидени-

ями и предвестниками свободы, осуществившейся спустя века. Может быть, человеку нужно было от изначальной свободы пройти через долгий период дисциплины, догматов и законов, чтобы снова, уже иным, выйти в свободу: может быть, так. Но горе поколениям, на чью долю выпал этот средний стадий – путь культуры. Она разлагается изнутри – это мы ясно видим, и она свисает лохмотьями с изможденного духа. Так ли совершится освобождение или оно разразится катастрофой, как двадцать веков назад, я не знаю, и сам я, конечно, не войду в обетованную землю, но мое чувство – как гора Нево, с которой Моисей ее видел<sup>[46]</sup>. И не я один провижу ее сквозь завесу тумана.

*М.Г.*

## VII

### М. О. Гершензону

«Движенья нет, – сказал мудрец брадатый»<sup>[47]</sup>... Его собеседник ответил ему символическим советом испытать самому на опыте справедливость высказанного мнения – «и стал пред ним ходить». Первый также, конечно, не был паралитиком; он одинаково мог передвигать ноги, но движениям своего тела не придавал цены, потому что не верил собственному опыту. Значительную часть ваших возражений я приписываю самовнушению – засилию предвзятой идеи умозрительного порядка; другую часть – вашему неутоленному голоду жизни. В ваших словах столько отчаяния, а между строк, во внутреннем тоносе и ритме слов, как и в свойственной вам жизненности действия, столько молодой бодрости, столько жажды испытать еще неизведанное, побродить по неслеженным тропам, доверчиво прикинуть к живой природе, столько тоски по игре и отваге и непочатым дарам щедрой земли, – *tant de desir, enfin, de faire un peu l'école buissonniere*<sup>[48]</sup> – что кажется, мой милый доктор Фауст, в новом перевоплощении, где не вовсе покинула вас и прежняя суетливая забота, – Мефистофелю не нужно было бы, при взгляде на вас, сразу же терять всякую надежду на успех, если бы ему вздумалось и про вас найти соответствующие соблазны, чтобы выманить усталого под ношею четырех факультетов из его ревниво охраняемого «угла» на вольную волю, в широкую жизнь. Разумеется, он должен был бы изобрести более тонкую тактику и отнюдь не показывать вам в магической дали прельстительный женский образ, – целесообразнее было бы, напомним еще раз о том, что теория седа, а золотое древо жизни вечно зеленеет<sup>[49]</sup>, начать с цветочков на чистой поляне и девственных рощ. Разумеется также, что вольная воля лишней раз оказалась бы, в конце нового ряда походов, безвыходною тюрьмой. Может быть, последнее из Фаустовых обольщений должно было бы стать для вас первым: каналы, и Новый Свет, и иллюзия свободной земли для освобожденного народа<sup>[50]</sup>. Мало ли сколько планиметрических чертежей и узоров возможно начертать на горизонтальной плоскости? Существенно то, что она горизонтальна. Я же вовсе не Мефистофель и потому никуда вас не хочу зазывать и переманивать. Весь смысл моих к вам речей есть утверждение вертикальной линии, могущей быть проведенною из любой точки, из любого «угла», лежащего на поверхности какой бы то ни было молодой или дряхлой культуры. Но сама культура, в ее истинном смысле, для меня вовсе не плоскость, не равнина развалин или поле, усеянное костями. Есть в ней и нечто воистину священное: она есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщаются этим посвящениям! Ибо последние были даны через отцов для их отдаленнейших потомков, и ни одна йота новых когда-то письмен, врезанных на скрижалях единого человеческого духа, не пройдет. В этом смысле не только монументальна культура, но и инициативна в духе. Ибо память ее, верховная владычица, приобщает истинных служителей своих «инициациям» отцов и, возобновляя в них таковые, сообщает им силу новых зачатий, новых починов. Память – начало динамическое; забвение – усталость и прерыв движения, упадок и возврат в состояние относительной косности. Будем, подобно Ницше, настроенно следить за собой, нет ли в нас ядов упадка, заразы «декадентства».

Что такое «decadence»? Чувство тончайшей органической связи с монументальным преданием былой высокой культуры вместе с тягостно-горделивым сознанием, что мы последние в ее ряду. Другими словами, омертвелая память, утратившая свою инициативность, не приобщающая нас более к инициациям (посвящениям) отцов и не дающая импульсов существенной инициативы, знание о том, что умолкли пророчества, как и озаглавил декадент Плутарх одно из своих сочинений («О изнеможении оракулов»). Все дело нашего общего бедного друга Льва Шестова – писание одного длинного и сложного трактата на ту же тему. Дух не говорит больше с декадентом через своих прежних возвестителей, говорит с ним только душа эпох;

духовное оскудение обращает его исключительно к душевному, он становится всецело психологом и психологистом. Поймет ли он верование Гёте: «Истина давно обретена и соединила высокую общину духовных умов. Ее ищи себе усвоить, эту старую истину»<sup>[51]</sup>. Для психолога она лишь старая психология. По крайней мере все духовное и объективное заподозривается им как психологическое и субъективное. И опять вспоминаю слова Гёте – Фаустовы слова о Вагнере: «Он роется в земле, отыскивая золотой плод, и радуется, найдя дождевых червей»<sup>[52]</sup>. Не похоже ли это на то, как наш тоскующий по живой воде друг производит свои психологические сыски и обнажает тщету умозрений? Его надлежит предоставить его демону: пусть мертвые погребают мертвецов<sup>[53]</sup>. Поверить ему, значит допустить червоточину в собственном духе<sup>[54]</sup>. Что не уменьшает, конечно, нашей любви к нему, нежной жалости к нему и к подвигу его, трагического и живучего могильщика. Будем верить в жизнь духа, в святость и посвящения, в незримых святых окрест нас, в бесчисленном слитном сонме подвизающихся душ и бодро пойдем дальше, не озираясь и не оглядываясь, не меря пути, не прислушиваясь к голосам духов усталости и косности о «яде в крови», об «изнеможении в кости». Можно быть веселым странником на земле, не покидая родного города, и стать нищим в духе, не вовсе забыв самое учение. Рассудок давно признали мы подчиненным орудием и слугою воли – он целесообразен для жизни, как любой низший орган тела, – умозрения, насыщающие его, по нашим словам, могут быть отданы нами в чужие руки, как мы отдаем ненужные книги, если не оставляем их мирно покоиться на полках домашней библиотеки, но животворящий сок этих умозрений, этих религий, их дух и логос, их посвятельную энергию глубоко вдохнем в себя, во имя Гётевой «старинной истины», – и так, беспечные и любознательные, как чужеземцы, будем проходить мимо бесчисленных алтарей и кумиров монументальной культуры, частью лежащих в запустении, частью обновленных и заново украшенных, своенравно останавливаясь и жертвуя на забытых местах, если увидим тут незримые людям неувядающие цветы, выросшие из древней могилы.

*В.И. 4 июля*

## VIII

### В. И. Иванову

Вы сирена, мой друг, – ваше вчерашнее письмо обольстительно. Мне казалось – сама культура, олицетворившись, лукаво прельщает меня своим богатством и с любовью остерегает от разрыва с нею. Да, ее голос неотразим для меня: разве я не сын ее? Не блудный сын, как вы думаете, а, что тяжелее, сын блудной матери. Ваш диагноз, мой милый врач, решительно неверен; пора мне выразиться яснее. Я вовсе не хочу вернуть человечество к мировоззрению и быту фиджийцев, отнюдь не хочу разучиться грамоте и изгнать муз, мечтаю не о цветочках на чистой поляне. Мне кажется, и Руссо, взволновавший Европу своей мечтой, мечтал не о *tabula rasa*; это была бы глупая, пустая мечта, которая никого не увлекла бы. Вы на этот раз формулировали основной вопрос нашего спора. Вам казалось до сих пор, что, наскучив внешними достижениями культуры, я в досаде собираюсь неосторожно вылить из ванны с водою и ребенка. Нет, нет! я все время говорю о соблазнах в духе, о яде в крови, которая есть сама жизнь: я говорю именно о самом ценном, что добыто в тысячелетнем существенном опыте, о так называемых вами подлинных посвящениях отцов, об истине объективной и непреложной, – я говорю, что именно этот живой родник духовного бытия отравлен и уже не животворит души, а умерщвляет. Речь идет именно о динамичности познанной истины, об ее инициативности в духе. Вы пишете: «Ибо память, ее верховная владычица, приобщает истинных служителей своих к «инициациям» отцов и, возобновляя в них таковые, сообщает им силу новых зачатий, новых починов». О, если бы так было! Но так было некогда – и перестало быть. Сделалось так, что откровения истины, нисшедшие на отцов, превратились в мумии, в фетишей, и уже не вонзаются в душу, как благодно-разрушительный и плодотворный заряд, а заваливают ее сверху глыбами гранита и щебнем распавшихся идей. Объективная истина и есть, и нет; она реально существует только как путь, как направление, но ее нет как законченной данности, которую можно и должно усвоить себе, по слову Гёте, приведенному вами. Если бы верно было, что «истина давно обретена», тогда, конечно, не стоило бы жить. В «посвящениях» отцов драгоценно не содержание их, потому что содержание всякой познанной человеком истины условно, а постольку и ложно и брэнно: драгоценна только их методология, если здесь уместно это слово. Вам лучше всего знать, что всякое изъяснение истины символично, – только знаменование<sup>[55]</sup>, только звук, пробуждающий косность из ее дремоты и побуждающий устремить взор по направлению, откуда он слышен. Говоря об инициативности истины как о неизменном явлении, вы рисуете людской быт не таким, как он есть, а именно таким, каким я хотел бы его видеть. Я говорю: посвящения предков окаменели, превратились в тиранические ценности, которые, соблазняя и устрашая, приводят индивидуальный дух в безропотную, даже в добровольную покорность себе, или, окутывая его туманом, застилают взор. Но я уже раньше писал об этом, и чтобы не повторяться, приведу здесь те страницы. Вот что было написано.

«Все знали, что Наполеон не родился императором. Какая-нибудь простая женщина, глядя на него из толпы во время пышного парада, могла подумать: «Теперь он – Император, почти утративший личное имя, владыка народов, – а в пеленках он был ничем для мира, только дитя своей матери». – Так, стоя в музее перед знаменитой картиной, я мыслю о ней. Художник писал ее для себя, и в творчестве она была не отделима от него, – он в ней и она в нем; и вот, она вознесена на всемирный престол, как объективная ценность».

Все объективное зарождается в личности и первоначально принадлежит только ей. Какова бы ни была ценность, ее биография неизменно представляет те же три фазиса, чрез какие прошел Наполеон: сперва ничто для мира, потом воин и вождь на ратном поприще, наконец властелин. И как Наполеон в Аяччио (Аяччо), так ценность свободна и правдива только в младенчестве, когда, безвестно-рожденная, она играет, растет и болеет на воле, не привлекая

ничьих корыстных взоров. «Гамлет» только раз цвел всей полнотой своей правды – в Шекспире, «Сикстинская Мадонна» – в Рафаэле. Потом мир вовлекает цветущую ценность в свои житейские битвы. В мире их полнота никому не нужна. Мир почуял в ценности первородную силу, заложенную в нее творцом, и хочет использовать эту силу для своих нужд; его отношение к ней – корысть, а корысть всегда конкретна. Оттого в общем пользовании ценность всегда дифференцируется, разлагается на специальные силы, на частные смыслы, в которых нет ее полноты и, значит, нет ее сущности. Как дуб нужен людям не в природном своем состоянии, но распиленный на части, так ценность мила им только в дроблении ее существа, как многообразная полезность. Наконец полезность становится общепризнанной ценностью, и ее венчают на царство. Венценосная ценность холодна и жестока, а с годами и вовсе каменеет, превращается в фетиш. В ее чертах уже нет и следа той свободной и открытой силы, которою некогда дышало ее лицо. Она служила стольким страстям высоким и низким! Один хотел ведра, другой дождя, и она всем угождала, подтверждая каждому его ложную, его субъективную правду. Теперь она самовластно диктует миру свои законы, не внемля личным мольбам. Что было живым и личным, в чем обращалась и пульсировала горячая кровь одного, то становится идолом, требующим себе в жертву такое же живое и личное, каким оно само увидело свет. Наполеон- император и картина на музейном троне – равно деспоты.

Кроме ценностей-фетишей, конкретных и осязательных, есть еще ценности-вампиры, так называемые отвлеченные ценности, нечто вроде юридических лиц в царстве ценностей. Они бесплотны и невидимы; они образуются из отвлечений от конкретных ценностей, потому что в духовной сфере точно так же действует закон сцепления, как в физическом мире, где испарения земных водоемов скопляются в тучи. Из многих «Гамлетов» и «Сикстинских Мадонн» путем отвлечения возникла общая ценность – Искусство; и так родились они все – Собственность и Нравственность, Церковь и Религия, Национальность, Культура, и сколько, сколько еще: все из эманаций лучшей крови самых горячих людских сердец. И каждая из них имеет свой культ, своих жрецов и верующих. Жрецы убежденно говорят толпе об «интересах» и «нуждах» боготворимой ценности и требуют жертв ради ее процветания. Государство жаждет мощи, Национальность – единства, Промышленность – развития и т. д.; так, призраки сами, они реально повелевают миру, и чем отвлеченнее ценность, тем она прожорливее и беспощадней. Может быть, последняя война есть только невиданная гекатомба<sup>[56]</sup>, которую несколько умопостигаемых ценностей, заключив между собою союз, совместно потребовали через своих жрецов от Европы.

Но в каждой отвлеченной ценности, как бы ни раздулось ее ненасытное чрево, трогательно мерцает искра Божества. Отдельный человек, сам того не зная, чтит в ней святость какого-нибудь личного и не искоренимого своего влечения, которое обще ему со всеми людьми; только этим живым чувством и сильна ценность. Ем ли я, утоляя голод, прикрываю ли наготу свою, или молюсь Богу, – мое дело есть только мое, такое простое и личное. И вот мое личное возведено в социальность, в безличность, а оттуда – еще выше, в эмпирей<sup>[57]</sup> сверхличных начал, – глядь – одинокое чувство оказывается включенным в сложнейший иерархически-централизованный строй, простая молитва обросла необозримой громадой Богословия, Религии, Церкви. Что было во мне потребностью сердца, объявлено моим освященным долгом, взято из моих рук, как любимое, – и поставлено надо мною, как миропомазанник.

Бедное сердце, как мать, еще любит в тиране свое порождение, но и плачет, повинувшись его безличной воле. И наступает час, когда любовь превозмогает покорность: мать свергает тирана, чтобы снова обнять в нем сына. Приходит Лютер с горячим сердцем и разрушает культ, богословие, папскую церковь, чтобы освободить из сложной системы простую личную веру<sup>[58]</sup>; французская революция рассеивает мистику трона и ставит отдельного человека в более прямое и близкое общение с властью. И ныне новый мятеж колеблет землю: то рвется на свободу из

вековых осложнений, из чудовищной связи социальных и отвлеченных идей – личная правда труда и обладания.

Человечеству предстоит еще далекий путь. Лютерово христианство, республика и социализм – только полдела: нужно, чтобы личное стало опять до конца личным, как оно родилось. Но и былое прошло не напрасно. Человек вернется к своему началу преображенным, потому что его субъективность, став всеобщей и объективной ценностью, там, в вышине, за долгие годы расцвела своей вечной правдой. Здесь совершается как бы обратная филогения<sup>[59]</sup>: достигнув вершины, движение уже иным возвращается вспять, точно тем же путем, этап за этапом, как оно восходило. Поэтому каждая революция есть возрождение старого; монархия снова сменяется единым вечем – парламентом, парламентаризм уступит место еще более ранней форме – федерализму, и так все дальше назад к исходной точке. Но старые формы оживлены теперь другим духом. Община в восхождении была скудна, хаотична и замкнута, в нисхождении она стройно организована и полна всенародного смысла. Исходная же точка, к которой все должно вернуться, – личность. Она вместит в себя всю нажитую полноту. Пройдут столетия – вера снова делается простою и личною, труд – веселым личным творчеством, собственность – интимным общением с вещью; но и вера, и труд, и собственность будут в личности непреложны и святы, а вовне безмерно обогатены, как из зерна проросший колос. Задача состоит в том, чтобы личное стало опять совершенно личным и, однако, переживалось как всеобщее; чтобы человек знал во всяком своем проявлении, как Мария, заодно и свое дитя, и Бога.

А ценности еще не все, и с ценностями еще можно бороться. Но как бороться против тех ядов культуры, которые вошли в кровь и отравили самые истоки духовной жизни? Есть паутинные сети умозрений, из стальной паутины, сотканной вековым опытом: они пленяют ум неощутимо и верно; есть торные пути сознания, куда незаметно вовлекается лень; есть рутина мышления и рутина совести, есть рутина восприятий, трафареты чувств и бесчисленные клише речений. Они подстерегают самое зачатие духовных зародышей, тотчас обволакивают их и как бы в любовных объятиях увлекают на избитые пути. Наконец, есть несметные полчища знаний, страшные своей многочисленностью и непреклонностью; они наводняют ум и располагаются в нем по праву объективной истины, не дожидаясь, пока голод призовет нужных из их числа; и дух, отягощенный ими, никнет в тесноте, бессильный и усвоить их существенно, и низвергнуть. Я говорю, следовательно, не о свободе от умозрения, а о свободе умозрения, вернее – о свободе, непосредственности и свежести созерцания, чтобы мудрость отцов не запугивала робких, не потакала косности и не застила далее, чтобы стала быть новая восприимчивость и новая мысль, не каменеющие тотчас в каждом обретении, а вечно пластичные, свободно-подвижные в бесконечность. Тогда-то явятся те веселые странники и нищие духом, беспечные и любознательные, о которых вы говорите: теперь их нет, или есть только мнимые, теперь никто не проходит, как чужеземец, *мимо* алтарей и кумиров, но и вы, мой друг, незаметно для себя, возлагаете жертвы на многие алтари и бессознательно чтите кумиры, ибо яд, говорю я, в нашей крови. И не я хочу закрепить человечество на горизонтальной плоскости, – это вы пишете: «Пойдем дальше, не озираясь и не меря пути». Я говорю именно: личность на этой равнине – вот вертикальная линия, по которой должна восходить новая культура.

М.Г.

## IX

### М. О. Гершензону

Диалог между нами существенно затрудняется в смысле словопрения, каким, впрочем, он вовсе и не должен был стать. Вы по природе своей, дорогой друг мой, монологист. На пути диалектики вас не заманишь: логика для вас не закон. Что вам до словесных противоречий себе самому, перечень коих я мог бы представить вам, как предъявляют векселя к оплате, если бы мой вкус не советовал мне воздержаться от этого покушения на внутренний, *душевный* смысл ваших признаний. Да мы же и условились, что истина не должна быть принудительной. Что же мне остается? Петь и играть вам на своей свирели? «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали»<sup>[60]</sup> – так укоряют друг друга дети евангельской притчи, мы же мним о себе, что уже не дети. «Хорошо спето», – скажете вы с ласковою улыбкой певцу, мимо идя своей дорогой. «Добрый путь в землю обетованную» – хочется крикнуть вам вслед, ибо вы сами об ней упоминаете и грезится вам, конечно, она, – ее гроздия и смоковницы («каждый сядет под своей смоковницей», как сказано в Библии)<sup>[61]</sup>, ее неистощенные пажити и холодные ключи, но где она именно и какова в точности, – не предельна ли даже этому миру явлений, – вам как будто и знать не надобно: только бы до нее дойти (ведь до нее непременно дойдешь, на то она и «обетованная» земля) или хотя бы с горы Нево ее завидеть, ибо в ней сияет «тройственный образ совершенства»<sup>[62]</sup>. И не отдадите вы своей кочевой непоседливости и палящей жажды своей по студеной воде – древней жажды сорокалетнего странствия в пустыне – за мясные котлы Египта, и его храмы, пирамиды и мумии, и всю мудрость, и все посвящения египетские. Вы вкусили от этой мудрости, от этих посвящений, как Моисей, и хотели бы все забыть; ненавистен вам Египет, – опротивела мумийная «культура», с ее неутоляющей *Вашей* жажды мудростью.

Какая разница между вами и Ницше, бремени которого, вам так же чужеродного, как и весь Египет, вы закономерно не пытались поднять на свои и без того чрезмерно отягощенные ношею духовных ценностей и достопамятностей плечи. К чему было бы предпринимать об руку с ним опасное паломничество в ущелье Сфинкса, чья певучая загадка («кто ты и что ты, пришелец»? – Эдип отвечивал: «человек»...) <sup>[63]</sup> звучит для каждого предстоящего особенно, своеобразною мелодией. Конечно, проблема Ницше – ваша проблема: культура и личность, ценность, упадок и здоровье, особенно здоровье. И едва ли какая-либо инициация личности в современной культурной среде может свершиться и без того, чтобы «посвящаемый» (как говорят теософы) не встретился с ним, как со «стражем порога». Ницше сказал: «человек есть нечто, что должно быть преодолено»<sup>[64]</sup>, – и этим лишний раз засвидетельствовал, что путь освобождения личности есть путь ввысь и вглубь, движение по вертикали. Опять обелиск, опять пирамида! «Может быть, вполне может быть», – торопливо отмахиваетесь вы, ибо чресла ваши препоясаны, и горящий взор мерит горизонты пустыни: «Только, прежде всего, прочь отсюда, вон из Египта!» Если бы вы были некоторое время и в некоторой мере «ницшеанцем», вы непосредственно почувствовали бы, как у человека, выючного животного культуры, являющего формы верблюда (уподобление найдено Ницше<sup>[65]</sup>, пафос его – ваш), прорезаются львиные когти; вы ощутили бы, как пробуждается в нем стихийный пустынный голод хищника, нудящий его растерзать нечто живое, чего дотоле он боялся, и отведать его крови. Это живое и кровеносное именуется на отвлеченном языке нового Египта, в его жреческих книгах «ценностями»: ведь они дивно живучи и живы, потому что живую свою кровь напитало их, как вы говорите, человечество, огненную душу свою в них вдохнуло, хоть и воссели они, неподвижные, на своих тронах «кумирами и всяческими подобиями того, что на небесах горе, и на земле внизу, и в водах под землею»<sup>[66]</sup>. Но Ницше не только растерзатель, кровопийца и психофаг<sup>[67]</sup>: он законодатель. Еще не став «младенцем», каким должен, по его предуведомлению, обер-

нуться лев, он разбивает скрижали старых ценностей, чтобы на новых, ungue leonis<sup>[68]</sup>, иные начертать письмена. Он хочет дать новый завет все тому же ветхому Египту – «переоценить» все то же языческое наследье родовое<sup>[69]</sup>. Он входит в сонм великих ваятелей идеала; иконописцем делается он из иконоборца. Что до вас, – студеной воды жаждете вы, а не горячей крови; ведь Вы только странник в пустыне, но отнюдь не хищник; и в самом Египте не разрушитель вовсе, а разве лишь – перед инквизиционным судом жрецов – сеятель подозрения, сомнения, разложения; и не по сердцу вам законодательствовать, да и переоценивать собственно нечего, ибо оценки ваши, по существу и в самом ядре своем, пожалуй, и совпали бы именно с признанными ценностями; но вам нужно почему-то начать с мнимого развенчания и демонстративной отмены последних. Быть может, вам кажется, что они не оживут, если не умрут<sup>[70]</sup>, – что не бессмертные они божества, если не выдержат испытания смертью. Движет вас, думается мне, глубокий и тайный импульс, полярно противоположный тем импульсам, коими было обусловлено в веках все преемственное кумиротворчество мира, именуемого в Священном Писании языческим. Гений язычества проецировал свое лучшее в трансцендентный образ или незримую, но трансцендентную идею – образ сверхчувственный, – объективировал свое высшее в символ, подобие, икону, кумир, – и даже «на отмени времен», как вы любите говорить, в век Канта и окончательного затвора и замурования духа рефлексией в одиночной камере индивидуальной личности, искал спасти «идею», как «идею регулятивную» в разумном сознании человека<sup>[71]</sup>. Вы, сам не отдавая себе в том отчета, являетесь типическим представителем иного, одинаково древнего и искони иконоборческого тяготения к поглощению идеи сумерками подсознательного. «Регулятивная идея», – все равно трансцендентная ли, или имманентная, но все же идея, – как таковая, не нужна вам и деспотически-стеснительна: вам нужен регулятивный инстинкт. Бога знаете и хотите вы не в небе зримом и не в небесах незримых человека, но в огненной душе живущего, в дыхании его жизни, в пульсации его жил. Из этой мысли глядит на нас, повторяю, седая старина, не менее древняя, чем иероглифы Египта. Вспоминаются мне стихи мои о человеке первоначальных времен, который не боялся смерти, как боимся ее мы:

Древний человек, ты нас могучей —  
Тем, что пред судьбиной неминучей  
Не склонял младенческих очей.

Верил ли он в бессмертие души? Если верил, вера эта во всяком случае не была для него утешением и надеждой; напротив, должна была породить в нем безутешное уныние.

Но меж тем как втайне дух крушила  
Безнадежность, и мечту страшила  
Храмы Гостеприимной тьма, —  
В мышцах зрели солнечные силы,  
И, поя беспечной жизнью жилы,  
«Я бессмертна!» – пела кровь сама.<sup>[72]</sup>

Неправда ли, это есть истинная вера в бессмертие? Из всех ваших основоположений вытекает, что идеал впервые совершенный и истинный (ибо согласный с природой) есть инстинкт с его имманентною телеологией. Вот почему и нет в вас охоты воспользоваться самому «свободой умозрения», которой вы, однако, требуете и, верный себе, начинаете вы эту нашу переписку с заявления, что «о таких вещах, как Бог и бессмертие, не надо ни говорить, ни думать».

Простите это типологическое исследование вашего душевного и умственного склада. Amico licet<sup>[73]</sup>. Но возможно ли иначе отвечать тому, кто, отклоняя приемы убеждения (кроме

одного и, быть может, сильнее: красоты слов), возглашает: «hoc volo»<sup>[74]</sup>, – такова моя воля, такова моя жажда; и «ut sentio sitioque, ita sapio»<sup>[75]</sup>. Остается исследовать источники воли и природу жажды. Но такое рассмотрение было бы недостаточно, если бы не было намечено место исследуемой воли, как явления существенного, в связи переживаемого нами всеобщего сдвига. Что же происходит в наши дни? Отмена ли культурных ценностей вообще? Или их разложение, свидетельствующее об их полном или частичном омертвлении? Или, наконец, переоценка прежних ценностей<sup>[76]</sup>? Как бы то ни было, ценности вчерашнего дня глубоко поколеблены, и вы едва ли не один из тех, которые радуются землетрясению, ибо по-вашему, если не разрушится ветхий Египет, то и образ совершенства, озарявший некогда колыбель каждого из его порождений, останется навеки погребенным во внутренних склепах, под обветренными глыбами пирамид. История творится, однако, по-видимому, не под вашим знаком, и упрямо хочет оставаться *историей*, новой страницей в летописях культурного Египта. Не будем учитывать случайного, непредвидимого, иррационального в ходе событий; взглянем на состояние умов. Анархические течения не являются господствующими; они по существу кажутся коррелятом и тенью буржуазного строя. То, что именуется сознательным пролетариатом, стоит всецело на почве культурной преемственности. Борьба ведется не за отмену ценностей прежней культуры, но за предносящееся умам, как некая верховная задача, оживление в них всего, что имеет значение объективное и вневременное, – в ближайшие же дни за их переоценку. Лев, не из верблюда возникший, а вышедший из недр, и прятнувшийся на утвержденные ценности, не просто хищный зверь, как и видел его в духе Ницше, но лев-человек, коему «ничто человеческое не чуждо»<sup>[77]</sup>. И вот, согласно данному Ницше прообразу, разбивая старые скрижали, он пытается на новых, ungue leonis, нацарапать новый устав. Я думаю, что при этом испортит он понапрасну немало мраморных плит и вечной бронзы; но думаю также, что некий единственный и глубокий след львиного когтя не изгладится вовек на памятниках нашего древнего Египта. Впрочем, речь идет не о содержании новых «двенадцати таблиц»<sup>[78]</sup>, а о методе отношения к ценностям. Метод революции, загнавшей нас с вами, усталых и истощенных телом, в общественную здравницу, где мы беседуем о здоровьи, – метод исторический по преимуществу и социальный, даже государственный, а не утопический и анархический, то есть индивидуальный, метод остающихся и оседлых, а не бегунов и номадов<sup>[79]</sup>, – поскольку, прибавлю, мы не касаемся в эту минуту вопросов духовного восхождения, роста по вертикали, где во все свои права и обязанности вступает личное начало, единственная и неповторимая человеческая личность.

Но вот мы приблизились опять к ее священному кругу. Я утверждаю, что в личности, – в духе, ее оживляющем, – и гора Нево, и сама обетованная земля. Вы противопоставляете личность и ценность, говоря о матери Наполеона, его пеленавшей, и о той же матери, отчужденно наблюдающей сына на престоле мертвящей славы, который должен был представляться ей пышным и холодным саркофагом былой жизни, былой любви. Друг мой, хорошо ознаменовали глубочайшее стремление человеческой воли те фараоны, которые видели свою главную задачу в сооружении себе достойной гробницы. Все живое хочет не только самосохранения, но и самораскрытия, всем существом зная, что последнее есть самоистощение, саморазрушение, смерть, – и, быть может, вечная память. Желание оставить по себе следы, обратить жизнь в памятник ценности, исчезнуть и сохраниться в живом культе одушевляющего нас принципа, – вот источник исконного человеческого «аретаизма»<sup>[80]</sup>, как означали эллины, дорийцы, свой категорический императив действительной доблести. Посвящение человечества в высшие тайны открыло перед ним и иной, богочеловеческий лик того же стремления к смерти во имя жизни: истина, любовь, красота хотят быть евхаристическими: «Ешьте Мою плоть и пейте Мою кровь; плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье»<sup>[81]</sup>. Не мать Бонапарта перед тронном сына, Мария перед крестом – вот символ сердца перед великою правдой вселенской

ценности. Должно ценности быть распятой, и положенной во гроб, и заваленной камнем, и запечатанной печатями: сердце увидит ее воскресшей в третий день.

Но тут неожиданно ваш голос присоединяется к моему, и мы оба, в любви и общей надежде, согласно пророчим уже не моими, а вашими словами о том, что будет исполнение алчбе сердца и воле духа, «чтобы личное стало опять совершенно личным и однако переживалось бы как всеобщее, чтобы человек знал во всяком своем проявлении, как Мария, заодно и свое дитя, и Бога».

*В.И.*

*12 июля 1920 г.*

## X

### В. И. Иванову

Мне забавно видеть: вы трактуете меня, как врач – больного: моя болезнь вас огорчает дружески, пугает социально, и даже раздражает. Вы с первого взгляда поставили неверный диагноз и удивляетесь, что ваши средства не действуют. Именно, вы силитесь доводами исторического разума рассеять мое чувство и, терпя неудачу, вините в ней мое упрямство. Но столько же пользы отцу увещевать сына, что девушка, которую он любит, не составит его счастье; столько же пользы твердить жаждущему: «Не пейте воды, лучше потерпите; это у вас ложная жажда, она скоро пройдет». Да я и не совсем отказываюсь от рассуждений: вашим многочисленным доводам я противопоставляю по крайней мере один, методологически их все объёмлющий. Гераклит сказал: χαλεπὸν θυμῷ μάχεσθαι, ψυχῆς γὰρ ονειίται<sup>[82]</sup>; по его примеру я говорю: исторический разум в своих рассуждениях о культуре естественно предрасположен славословить ее. Если вы считаете нужным исследовать природу моей жажды, то я не менее вправе определять причину вашей сытости.

И тут я прихожу к вашим замечаниям о Ницше. Вы опять ошиблись, мой добрый врач. Я мало читал Ницше, – он был мне не по душе; а теперь я сознаю свой «пафос», как вы выражаетесь, не тождественным, а противоположным его пафосу. Он, сам больной, нашел возможным поставить прогноз болезни культуры, и на основании этого прогноза – законодательствовать грядущему. Из человека культуры должен родиться лев, из льва потом родится ребенок; делайтесь же скорее львами, дерзайте, рвите в клочья. Но, кажется, после страшной войны 1914–1918 годов уже трудно говорить о рождении львов. Она показала, что в культурном, образованном человеке нашего времени созрел хищный и кровожадный зверь, – это правда, но отнюдь не лев, и потому у меня весьма мало надежды, что из него когда-нибудь родится ребенок. Нет, нам не пристало писать законы для будущего. Довольно, если мы сумеем сознать свой недуг и взалкать исцеления: это уже начало возможного выздоровления. И Ницше силен только в криках боли, да и в описаниях культурной болезни, изнуряющей человечество.

Мне кажется, – чрез все ваши рассуждения проходит одна основная нота: сыновнее почтение к истории. Вам претит осуждать ее; вы благоговейно приемлете все, что создано ею, и вас ужасает мой дерзкий бунт против нее. Но вот, в одном из предшествующих писем вы с убежденностью говорили о довременном грехопадении человека, разумея, очевидно, грех отщепенства и распада на замкнутые, самоутверждающиеся индивидуальности. Значит, вы признаете волю человека в известной мере свободной так или иначе определять его бытие. Почему же вас оскорбляет мое утверждение, что современная культура есть результат ошибки, что человек нашего мира пошел ложным путем и забрел в безвыходную дебрь? Конечно, история на всем протяжении разумна, то есть все, что совершилось в ней, совершилось на достаточном основании; но объяснение – ведь не оценка. Рога развились у оленя закономерно, как средство запугивания и обороны; но у иных видов они закономерно же достигли такой величины, что мешают бегу в лесах, и вид вымирает. Не то же ли и с культурой? Наши «ценности» – не те же ли рога, – сначала личное приспособление, потом всеобщее достояние рода и, наконец, безмерно разросшаяся в роде, мучительная, гибельная для личности тяжесть и помеха?

Да, вы правы: ваша логика для меня не закон. Правда истории ни в одной своей точке не освящена; она – правда творящая, испытываемая и поверяемая всякой отдельной личностью. Моя личность, проверив ее целостным чувством, говорит ей: ты – ложь, не могу поклоняться тебе. Я говорю Перуну: ты деревянный идол, не Бог; Бога я ощущаю незримым и вездесущим; вы же стараетесь уверить меня, что этот истукан – символ моего же Божества, и что стоит мне только постигнуть его знаменование, он вполне заменит мне Бога. И хотя вы очень интересно, очень глубокомысленно разоблачаете мне его символическую природу, – я готов слушать вас

без конца, я почти убежден вами, – но его вид так страшен и противен моему чувству, что я не могу совладать с собою. Я помню все жертвы, которые мы ему приносили, и думаю о тех, которые мне изо дня в день придется еще приносить ему по указанию его жрецов, – тяжелые, кровавые жертвы! Нет, нет! Это не Бог! *Мой* Бог, не видимый, – не требует, не пугает, не распинаят. Он – моя жизнь, мое движение, моя свобода, мое подлинное хотение. Вот что я разумел, говоря вам, что жажда моя отвращается от теплых и пряных напитков современной философии, искусства, поэзии, что утолить ее может только холодная ключевая вода. А в нашем быту больше нет живой воды: все родники заключены в резервуары, их вода проведена по многоверстным трубам, и потом еще стерилизуется в очистителях, и наконец, эта полумертвая влага подвергается городской обработке: мы пьем либо кипяченую воду, либо сложные пития всевозможных вкусов, цветов и запахов. Среди этих пышных вместилищ густой и теплой философии, горячей и ароматной поэзии можно умереть от жажды, не найдя глотка холодной воды. Простите затянувшуюся метафору: такая жара эти дни, – нигде не найти прохлады; пью, пью теплую кипяченую воду, выпил уже весь наш графин, а все не утолил жажды. Верно, оттого и написалось о жажде. Вспомнил, как в такой же жаркий день, много лет назад, пил ковшиком из тенистого родника в лесу под Кунцевом<sup>[83]</sup>. Там была прохлада, и сладко было пить студеною чистой воду. Пусть я по воле судьбы, велением культуры, живу в городе и сижу в здравнице, в душной комнате с окнами в стену, пью противную переваренную воду и отгоняю многочисленных мух, – могу ли я не помнить, что есть леса и прохлада, могу ли не тосковать о них? И еще одно, не последнее:

Хоть детей бы рок наш трудный  
Миновал, не повторись!

Логика отвлеченной мысли не действует на мое чувство; но так же мало способна осилить его и логика истории, в суеверном почтении к ней. Вы выдвигаете против меня не только закономерность прошлого, но и его продолжение – события настоящего дня, как последний и решающий довод. Вы призываете меня взглянуть открытыми глазами на совершающуюся сейчас революцию: ее лозунг – не отмена ценностей прежней культуры: она хочет как раз сделать их достоянием всех: это не бунт против культуры, а борьба за культуру, и пролетариат стоит всецело на почве культурной преемственности. Так, но что из этого? Мы наблюдаем только, как пролетариат берет в свои руки из рук немногих накопленные ценности. Но мы совсем не знаем, ни что он видит в этих ценностях, ни зачем он овладевает ими. Быть может, он видит в них только орудие своего векового порабощения, и ему нужно не владеть ими, а только вырвать их из рук поработителя? Или, может быть, за долгие годы просветительства он поверил самохвальству культуры и мнит обогатиться ее ценностями; но кто знает? Взяв их в руки и разглядев, он, может быть, увидит, что кроме цепей да мусора в них нет ничего, и с досадой разочарования бросит их прочь и начнет создавать другие новые ценности. А может быть и то: поднимет их полной верой на рамена свои и понесет дальше, добросовестно примет «преемство культуры», но в пользовании старыми ценностями бессознательно будет пропитывать их новым духом, и на протяжении недолгого даже времени они молекулярно так переродятся, что нельзя будет их узнать. Возможно (и я действительно так думаю), что сейчас, борясь за обладание ценностями культуры, он сам искренно заблуждается: мыслит, что они нужны ему сами по себе, тогда как на самом деле они нужны ему лишь как средства иных достижений. Таков обычный самообман нашей воли. Человек создает аэроплан, думая только о технической его полезности: буду быстро перелетать и посылать биржевые известия из Нью-Йорка в Чикаго; и не знает того, что дух побуждает его строить крылья вовсе не для земных его целей, а как раз для того, чтобы ему оторваться от земли и воспарить над нею; что уже тайно созрела в нем мечта и вера о вознесении в иные миры и что аэроплан – только слабое начало осуществления

этой мечты, уже окрепшей в нем и уверенной: дай срок, некогда взлечу навеки и бесследно утону в эфире! Так древле человек высек первую искру из кремня, сознав недолжность тьмы и власть свою победить ее, а мы, повернув выключатель, преображаем ночь в день. Сознанный замысел не обличает подлинной цели; дух ставит цель в себе и сообщает сознанию только направление первого шага, потом второго и дальше. Направление всего пути ведомо только духу; оттого сознание после каждого шага видит себя обманутым. Вундт называет это явление гетерогенией целей<sup>[84]</sup>: поставленная сознанием цель в пути осуществления перемещается или заменяется другою, вовсе чужеродною первой; и так звено за звеном; намеченная короткая линия оказывается на деле изогнутой: то дух властно и незаметно уклоняет шаги идущего – к своей мечте, уму неведомой. Что мы сейчас видим в революции, ничего не говорит о далеком расчете и замысле, с каким дух вызвал ее в жизнь.

*М.Г.*

## XI

### М. О. Гершензону

Не довольно ли, дорогой друг мой, компрометировали мы себя, каждый по-своему: я – своим мистицизмом, вы – анархическим утопизмом и культурным нигилизмом, как обоих определило и осудило бы «компактное большинство» (словцо Ибсена) современных собраний и митингов. Не разойтись ли нам по своим углам и не затихнуть ли каждому на своей койке? «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь»<sup>[85]</sup>. Я не люблю злоупотреблять этим грустным признанием Тютчева; мне хочется думать, что в нем запечатлелась не вечная правда, а основная ложь нашей расчлененной и разбросанной культурной эпохи, бессильной родить соборное сознание, эпохи, осуществляющей предпоследние выводы исконного греха «индивидуации»<sup>[86]</sup>, которыми отравлена вся историческая жизнь человечества – вся культура. Мы силимся преодолеть это смертное начало вседневно и всечасно непрерывным творчеством больших и малых культов, – каждый культ уже соборен, пока жив, хотя бы соединял троих только или двоих служителей, – и соборность вспыхивает на мгновение и гаснет опять и не может многоголовая гидра раздираемой внутренним междоусобием культуры обратиться в согласный культ. Но жажда единения не должна все же соблазнять нас к уступчивости и соглашательству, то есть к внешнему установлению видимой и мнимой связи там, где не сплелись в одну сеть самые корни сознания и как бы кровеносные жилы духовных существ. В глубине глубин, нам не достигаемой, все мы – одна система вселенского кровообращения, питающая единое всечеловеческое сердце. Но не должно упреждать чувствования, данного нам только как отдаленное и смутное предчувствие, и подменить сокровенную святую реальность вымышленными ее подобиями. У нас двоих нет общего культа. Вам кажется, что забвение освобождает и живит, культурная же память поработщает и мертвит; я утверждаю, что освобождает память, поработщает и умерщвляет забвение. Я говорю о пути вверх, а вы говорите мне, что крылья духа обременены и разучились летать. «Уйдем», – приглашаете вы, а я отвечаю: «Некуда: от перемещения в той же плоскости ничего не изменится ни в природе плоскости, ни в природе движущегося тела»... Когда-то я пел:

Вам – пращуров деревья  
И кладбищ теснота;  
Нам вольные кочевья  
Судила Красота.  
Вседневная измена,  
Вседневный новый стан...<sup>[87]</sup>

И тут же правдивая муза заставляла певца, мятежника против культурного предания, присовокупить:

Безвыходного плена  
Блуждающий обман.

О, для культа должно покидать насиженные места и деревья пращуров:

Братья, уйдем в сумрак дубрав священных...  
Чадам богов посох изгнания легок,  
Новой любви расцветший тирс...

Широка цветоносная земля и много светлых полей по ней

– ждут наших уст приникших  
И с дифирамбом дружных ног...<sup>[88]</sup>

Так будет, дорогой друг мой, хотя и нет еще знамений такого обращения. Культура обратится в культ Бога и Земли. Но это будет чудом Памяти, – Перво-Памяти человечества. Внутренне культура не однородна, как не едина вечность, как множествен и состав человеческой личности.

Двигутся в море глубоком моря, те к зарям, те – к закатам;  
Поверх волны стремятся на полдень, ниже на полночь;  
Разно текущих потоков не мало в темной пучине,  
И в океане пурпурном подводные катятся реки.<sup>[89]</sup>

Так и в культуре есть сокровенное движение, влекущее нас к первоистокам жизни. Будет эпоха великого, радостного, все постигающего возврата. Тогда забьют промеж старых плит студеные ключи, и кусты роз прозябнут из серых гробниц. Но чтобы скорее дожить до этого дня, дальше и дальше надлежит идти, а не обращаться вспять: отступление только замедлило бы замкнутие кольца вечности.

Мы же русские, всегда были, в значительной нашей части, бегунами. Нас подмывает бежать, бежать без оглядки<sup>[90]</sup>. Мне свойственно непреодолимое отвращение к решению какого бы то ни было затруднения – бегством. Я назвал выше культурный «Египет» вам чужеродным, как и порыв Ницше. Почти всей нашей интеллигенции, взятой в собственном и тесном смысле общественно-исторического термина, чужероден Египет, и культура – рабство египетское. Вы же, конечно, плоть от плоти и кость от кости интеллигенции нашей, как бы ни бунтовали против нее. Я сам – едва ли; скорее, я наполовину – сын земли русской, с нее, однако, согнанный, наполовину – чужеземец, из учеников Саиса<sup>[91]</sup>, где забывают род и племя; «Опроститься» – вот магическое слово для интеллигенции нашей; в этой жажде сказывается вся ее оторванность от корней. Ей мнится, что «опроститься» значит ощутить корень, пустить в землю корень. Таков был Лев Толстой, который должен закономерно привлекать вас. Иноприроден ему был Достоевский, закономерно вас отталкивающий. Этот «опрощения» не хотел; но то, что писал он о саде, как панацее общежития, и о воспитании детей в великом саду грядущего, и о самом «заводе» в саду, – есть духовноправая и исторически правдивая не мечта, а программа общественного действия. Опрощение – измена, забвение, бегство, реакция трусливая и усталая. Несостоятельна мысль об опрощении в культурной жизни столь же, сколь в математике, которая знает только «упрощение». Последнее есть приведение множественной сложности в более совершенную форму простоты как единства. Простота как верховное и увенчательное достижение есть преодоление незавершенности окончательным свершением, несовершенства – совершенством. К простоте вождельной и достолюбезной путь идет через сложность. Не выходом из данной среды или страны добывается она, но восхождением. На каждом месте, – опять повторяю и свидетельствую, – Вефиль и лестница Иакова<sup>[92]</sup>, – в каждом центре любого горизонта. Это путь свободы истинной и творчески-действенной; но пуста свобода, украденная забвением. И не помнящие родства – беглые рабы или вольноотпущенники, а не свободнорожденные. Культура – культ предков, и, конечно, – она смутно сознает это даже теперь, – воскрешение отцов. Путь человечества – все более ясное самосознание человека, как «забытого и себя забывшего бога»<sup>[93]</sup>. Трудно ему припомнить о своем первородстве: ведь его забыл уже дикарь. Философия культуры в устах моего Прометея – *моя философия*:

– Измыслят торговать,  
Художествовать, воинствовать, числить  
И властвовать, и рабствовать – затем,  
Чтоб в шуме дней, в заботах, в сладострастьи,  
В мечтах забыть о воле бытия  
Прямой и цельной. А дикарь в пустыне  
Бродить, понурый, будет...<sup>[94]</sup>

Не веселится своею пустой свободой дикарь или дикарю уподобившийся, «опростившийся» под чарами забвения; он понур и уныл.

И чтобы не быть «унылым гостем на темной земле», путь один – огненная смерть в духе. Dixi<sup>[95]</sup>.

*В.И.*

*15 июля 1920 г.*

## XII

### В. И. Иванову

Вы сердитесь: дурной знак. В досаде на мою глухоту вы ставите меня в ряды «опрошенцев», «непомнящих родства», трусливых бегунов и пр., даже браните меня «интеллигентом» (а себя, хитрец, изукрасили: сын земли русской, да еще ученик из Саиса!) Вас сердит больше всего, что я упрямо твержу свое «*Sic volo*»<sup>[96]</sup>, а рассуждать отказываюсь. Но это неверно: я все время рассуждаю наперебой с вами. Так, например, в этом письме вы утверждаете две вещи: во-первых, что культура сама в своем дальнейшем развитии приведет к первоистокам жизни; надо только с усердием идти вперед – в конце пути, говорите вы, воссияет желанный свет, «забьют промеж старых плит студеныя ключи, и кусты роз прозябнут из серых гробниц», – то есть непотребная сейчас культура именно в дальнейшем своем непотребстве снова обретет начальное целомудрие. На это я отвечаю: не верю, и не вижу никакого основания так думать; только чудо превращает блудницу в святую Марию Магдалину. Таков, по вашей мысли, один путь: стихийная эволюция культуры. С этим вашим предсказанием плохо согласуется второй ваш тезис – что каждый человек должен огненной смертью в духе преодолевать культуру. Ведь одно из двух: если культура сама в своем развитии неуклонно ведет нас к Богу, – мне, отдельно, нечего суетиться; я могу спокойно продолжать свои вчерашние дела, читать лекции об экономическом развитии Англии в Средние века, проводить железную дорогу из Ташкента в Крым, усовершенствовать дальнобойное орудие и технику удушливых газов; я даже обязан делать это, чтобы культура быстро шла вперед по проторенному ею пути, – чтобы ускорилось ее вождевленное завершение. А в таком случае огненная смерть личности не только не нужна, – она вредна, потому что личность, сторовшая и воскресшая, тем самым выходит из состава культурных работников. Напомню вам ваши собственные строки:

Кто познал тоску земных явлений,  
Тот познал явлений красоту...

и дальше:

Кто познал явлений красоту,  
Тот познал мечту Гиперборея:  
Тишину и полноту  
В сердце сладостно лелея,  
Он зовет лазурь и пустоту.<sup>[97]</sup>

Вот это верно: «*зовет лазурь и пустоту*». Он тотчас прекратит чтение лекций и, наверное, не сделает уже ни одного доклада в ученом обществе, где он был членом, даже ни разу больше не заглянет в него. Не говорю уже о том, что «огненная смерть в духе» – такая же редкость, как превращение блудниц в святых. Как же я не рассуждаю? Видите, рассуждаю и спорю.

Но эти ваши стихи мне очень по душе. Видно, и вы когда-то знали мою тоску и жажду, а после успокоились, заговорили свою тоску софизмами о конечном просветлении культуры и о ежеминутной возможности личного спасения чрез огненную смерть. Каковы вы теперь, благочестиво приемлющий всю историю, – у нас с вами действительно нет общего культа. Или нет: есть общее, чему свидетельство – самая наша дружба на протяжении стольких лет. Я живу странно, двойственной жизнью. С детства приобщенный к европейской культуре, я глубоко впитал в себя ее дух и не только совершенно освоился с нею, но и люблю искренно многое в ней, – люблю ее чистоплотность и удобство, люблю науку, искусства, поэзию, Пушкина. Я

как свой вращаюсь в культурной семье, оживленно беседую с друзьями и встречаемыми на культурные темы, и действительно интересуюсь этими темами и методами их разработки. Тут я с вами; у нас общий культ духовного служения на культурном торжище, общие навыки и общий язык. Такова моя дневная жизнь. Но в глубине сознания я живу иначе. Уже много лет настойчиво и неумолчно звучит мне оттуда тайный голос: не то, не то! Какая-то другая воля во мне с тоскою отвращается от культуры, от всего, что делается и говорится вокруг. Ей скучно и не нужно все это, как борьба призраков, мятущихся в пустоте; она знает иной мир, предвидит иную жизнь, каких еще нет на земле, но которые станут и не могут не стать, потому что только в них осуществится подлинная реальность; и этот голос я сознаю голосом моего подлинного «я». Я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага, болею их болью и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине. Минутами я так страстно тоскую о ней! Тогда мне не надо железных дорог и международной политики, пустыми кажутся мне распри систем и споры друзей о трансцендентном и имманентном Боге<sup>[98]</sup>, пустыми и мешающим видеть, как поднятая на дороге пыль. Но как тот пришлец на чужбине подчас в окраске заката или в запахе цветка с умилением узнает свою родину, так я уже здесь ощущаю красоту и прохладу обетованного мира. Я ощущаю ее в полях и в лесу, в пении птиц и в крестьянине, идущем за плугом, в глазах детей и порой в их словах и божественно-доброй улыбке, в ласке человека человеку, в простоте искренней и непродажной, в ином огненном слове и неожиданном стихе, молнией прорезающем мглу, и мало ли, мало ли еще в чем – особенно в страдании. Все это будет и там, все это – цветы моей родины, заглушаемые здесь буйно растущей, жесткой, безуханной растительностью.

Вы, мой друг, – в родном краю; ваше сердце здесь же, где ваш дом, ваше небо – над этой землей. Ваш дух не раздвоен, и эта цельность чарует меня, потому что, каково бы ни было ее происхождение, она сама – тоже цвет той страны, нашей общей будущей родины. И потому я думаю, что в доме Отца нам с вами приуготовлена одна обитель, хоть здесь, на земле, мы сидим упрямо каждый в своем углу и спорим из-за культуры.

*М.Г.*

*19 июля*

## Комментарии

Печатается по тексту первого издания: Петербург: Алконост, 1921. В 1922 г. «Переписка...» была переиздана в Германии на русском языке: Москва-Берлин: Огоньки (Куммер и К<sup>о</sup>). В последующие годы появились переводы «Переписки» на основные европейские языки.

*Составитель В. В. Сапов*

Переиздание: Вячеслав Иванов. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994 (Переписка из двух углов. С. 113–136).

В 1926 г. М. Бубер поместил немецкий перевод «Переписки...» в журнале «Die Kreatur» (Heft 2). В 1930 г. в журнале «Vigilie» (№ 4), главным редактором которого был Ш. Дю Бос, появился ее французский перевод, выполненный Е. А. Извольской; в 1931 г. в Париже в издательстве «Roberto A. Coggero» вышло отдельное издание этого перевода с предисловием Г. Марселя (в приложении к нему было опубликовано письмо Вяч. Иванова к Ш. Дю Босу). В 1932 г. вышел итальянский перевод, сделанный О. И. Резневич-Синьорелли под редакцией Вяч. Иванова (репринтно переизданный в Милане в 1976 г. с предисловием А. Руднева). В 1933 г. Х. Ортега-и-Гассет напечатал испанский перевод «Переписки...» в своем журнале «Revista de Occidente» (1933, № 117, 118). В 1943 г. «Переписка...» была издана в Тель-Авиве в переводе на иврит Израиля Циора. После войны немецкий перевод «Переписки...» был опубликован трижды: Sigel-Verlag, Frankfurt-am-Main, 1946; Ernst Klett, Stuttgart, 1948 (перевод Н. Бубнова); Herder-Verlag, Vienna, 1949 (переработанный и авторизованный перевод с послесловием J. Neucelle <Д.В. Иванова>), 1949.

На фламандском языке «Переписка...» вышла в 1945 г. (De Kinkhoren, Bruges and Bruxelles). На английском языке «Переписка...» издавалась трижды: в американских журналах «Mesa» (1947, № 3) и «Partisan Review» (1948, № 9; перевод Н. Гутермана) и в антологии «Russian Intellectual History» (N.Y., 1966) в переводе Гертруды Вакар и с предисловием И. Берлина. Последнее английское издание «Переписки...» в переводе L. Sergio вышло в 1981 г. (Malboro). Французский перевод с предисловием О. Дешарт переиздан в Лозанне в 1979 г. (издательством L'Age d'Homme).

О русских постсоветских изданиях «Переписки...» см. ниже прим.19.

Об обстоятельствах возникновения «Переписки...» рассказывает В. Ходасевич, бывший – если так можно выразиться – ее «очевидцем», в мемуарной статье «Здравница (Из московских воспоминаний)»:

«Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось “здравницей для переутомленных работников умственного труда” впоследствии – дом для престарелых деятелей медицинской науки». Впрочем, уже тогда здравницу предполагалось обратить в такое постоянное убежище для медиков.

В здравницу устроил меня Гершензон, который тогда сам отдыхал в ней так же, как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. Внизу помещалась обширная столовая, библиотека, кабинет врача, кухня и службы. Вверху жили пансионеры. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом.

Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом – небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находилась кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова – все всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами – шляпа,

на книгах – распоротый пакет табаку. Из этих-то “двух углов” и происходила тогда известная “Переписка...”. Впрочем, к моему появлению она уже закончилась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов» (Возрождение. Paris, 1929, № 1381, 14 марта. С. 3).

Из других обитателей «здравицы» Ходасевич вспоминает Ю. А. Бунина (брата писателя), профессора Н. Н. Фирсова (историка, специалиста по «пугачёвщине»), Л. И. Аксельрод-Ортодокс. Но, пожалуй, самой примечательной личностью была престарелая вдова Сеченова Мария Александровна, послужившая в свое время прообразом Веры Павловны Лопухиной в «Что делать?» Чернышевского. Она, таким образом, дожила до того времени, когда ее знаменитые «сны» стали сбываться наяву, но она – как саркастически замечает Ходасевич – «до девяноста четырех лет осталась верна несложным идеям юности». О своем визите в «здравицу» к Вяч. Иванову вспоминал многие годы спустя М. М. Бахтин (см.: Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 77–80). Одним из первых, кто откликнулся на «Переписку», был писатель Евг. Лундберг, посвятивший ей критическую заметку «К кризису культуры» (он читал ее берлинское издание 1922 г.). Он писал: «“Переписка из двух углов” М. О. Гершензона и В. И. Иванова – редкая по внутренней и внешней прелести благоухания книга. Чтобы понять по-настоящему ее прелести – надо знать современную Россию, в ее темным быте и в ее светлом напряженном духе. Надо знать, как жили и живут в ней писатели и чего им стоило сохранение отвлеченных своих интересов и мыслительной свободы. Здравница. Это значит – силы на исходе. Где-нибудь под Москвой, в сосновом бору – общежитие. Не слишком обильное питание, и комфорт, и чистый воздух, и тишина. В одной комнате, в разных углах, постаревшие, усталые, аскетического вида, отдыхают – утонченнейший русский поэт и талантливый историк литературы. Пригрело солнце, напоил усталые легкие сосновым духом бор, быстрее потекла кровь в жилах – и опять мысль, игра мысли, и опять очи горе, как в дни юности, как в дни расцвета, как в ночные часы труда, как во все часы и дни творческой писательской жизни. Неугомонные. Сильные в своей слабости. Верные в своих духовных скитаниях. Все те же и те же среди исторических и личных катастроф, которых всем им выпало не мало. Для тех, кто знает русскую жизнь и русских литераторов, – “Переписка из двух углов” чудесный, волнующий, радующий и болезненно пронзающий документ. Это книжка, которую должны узнать и иностранцы.

Мысли все об одном – о кризисе культуры. О нем писал Ал. Блок в гениальной своей статье “Кризис гуманизма”. Ему посвятил А. Белый три своих книжки – кризис слова, сознания и культуры. Петербургская Вольфила с Ивановым-Разумником и Эрбергом во главе посвящала ему свои заседания... И отогревшись, ожившие В. Иванов и М. Гершензон переписываются о ней. И странное дело – историк и – по крови – носитель тысячелетней культуры еврейского народа, М. О. Гершензон в отрицаниях своих проще, здоровее и отчетливее, чем поэт и славянин Вяч. Иванов. Поэт ищет еще примирений. Большой знаток красоты мировых идей, гость многих станов, культурнейший человек среди представителей русской литературы, человек религиозный, если судить по писаниям его, умеющий легко отбрасывать соблазны временного – Вяч. Иванов, пройдя жестокою школу современности, не хочет еще остановиться, пытается продолжить философические скитания свои, прикоснуться к революции, как некогда прикоснулся он к Греции и Германии, и идти дальше – к восстанавливаемой культуре, притом восстанавливаемой так, чтобы ничто из прежних сокровищ не было потеряно и ничто не было сдвинуто с сужденных ему мест. Гершензон же твердо и упрямо остановился на одном, основном своем по отношению к культуре переживанию, и не хочет сдвинуться с места. Так есть, так и должно быть, говорит он, и готовится к разрушению. Пусть падает старый мир – пусть падает, ибо стоять он не может.

<...> Вяч. Иванов отвечает на это превосходною по форме тирадою, в которой бережливость к культуре сочетается с воспоминаниями о лирических радостях от нее, о вдохновениях, ею внушенных <...>

В словах Гершензона знаменательна воля к полному освобождению от заслуг и знаний вчерашнего дня. Ничего, ничего, – только легко вздохнувшее освобожденное я. Раньше всего – нагота, и только потом оглянуться вокруг себя, и узнать что есть, что может быть. Этой воле Гершензона к освобождению от культуры и преемственности В. Иванов противопоставляет свой скепсис – скепсис учившегося человека. Преемственность нам не навязана извне условиями, говорит он, она не от европейской культуры, она – в нас, иначе мы не умеем ни жить, ни думать. И искать освобождения от нее надо не в изменениях внешних условий, а в росте и в превращениях духа. Гершензону такая история ближе, чем В. Иванову. Если пали государства и похитилась культура, говорит он, значит – так надо было. И человек пусть идет в ногу с историей, и человек пусть отрывает от себя привычные и так намозолившие тело блага. Человек и история – одно. Уроки истории должны раньше всего отразиться в крошечном человеческом зрачке.

В. Иванов отделяет себя от истории и себя, бессмертного человека, от бытия. Христианский дуализм – тот самый, который делает современный перелом таким осложненным, раздвоил его художническое зрение и, оставляя за личностью право на обладание вековечным смыслом, он в пределах исторических событий делает этот смысл сомнительным. Ибо, если преемственность неизбежна, как горб верблюда, и преодолеть ее можно только изнутри, то, значит, не хорошо историческое бытие, хорош одновременно дух человеческий, носитель правды, познания и роста. В. Иванов хочет не расти вместе с историей, а вырастать из истории, двигаться не вместе с просыпающимся к бытию хаосом, а скользить поверх его, в индивидуальном своем, отрешенном от тела, аскетическом кристалле. На это ему и отвечает Гершензон с нарочитою своею грубоватостью: «Ваш угол – тоже угол, замкнутый стенами – свободы в нем нет»» (Накануне. Литературное приложение № 7 к № 62. 1922, 11 июня. С. 10–11).

Диаметрально противоположную по отношению к Лундбергу позицию в споре между Гершензоном и Вяч. Ивановым заняла М. Цветаева. Она – всецело на стороне Вяч. Иванова: «Когда читаешь “Переписку” Вячеслава Иванова с Гершензоном, – писала она в статье “О переписке из двух углов”, – этот аристократизм, эта незыблемость ивановской мысли становятся вполне очевидными. Гершензон вьется, змеится, бьется вокруг нее, всячески подкапывается, но внутрь не проникает. Кроме того, не ясно ли, что в этой книге мелодия дана и все время ведется Вячеславом Ивановым. Гершензону же остается только аккомпанировать, да и то по нотам Шестова» (Благонамеренный. Журнал русской литературы и культуры. Брюссель, 1926. Кн. II. С. 133–134). Прочитав заметку Е. Лундберга, М. О. Гершензон в письме к Л. И. Шестову от 26 июня 1922 г. писал: «Насчет “Переписки” ты заметил тонко и верно: тон голоса Вячеслава] И[ванова] определил и мой; оттого меня коробит от этой книжки: это тон кантилены, – пенье зажмурил глаза, что мне, кажется, совершенно чуждо. На днях я прочитал в “Накануне” статейку Лундберга об этой книжке. Он воображает: сосновый бор, здравница с некоторым комфортом, и т. под. Нет, это была тесная, грязная, без малейшего комфорта и с плохой едой (однако много лучше домашней, которая тогда была – голод) здравница в 3-м Неоналимовском пер. Грязно, душно, тучи мух, ночью шаги в коридоре к уборной, на окне занавески нет, матрац – как доска, – и духота; я там переночевал только первую ночь, а после – благо близко – ходил туда только обедать и ужинать, 2 раза в день. А В.И. там жил, потому что весь день был в Театральном] Отд[еле], а вечером – лекции, и спал он крепко. Начал переписку он, и стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб – не было никакой охоты писать. Но он мучил меня до тех пор, пока я написал. Потом все время он отвечал тотчас, а я тянул ответ по много дней, и он пилил меня; а мне не писалось. Оттого под его письмами всегда есть дата, а под моими нет;

напишу начало, оно лежит 5–6 дней, он пристаёт, и наконец допишу. Я это время все лежал и читал Нансена. По моему настоянию и прервали на 6-й паре; он хотел, что бы была «книга». А тут уж у него завертелось: В[ера] Конст[антиновна] умирала <умерла 8 августа 1920 г.>; нам не пришлось даже сряду перечитать наши листки разного цвета и формата (бумаги тогда нельзя было достать, писали на клочках), ему – потому что было не до того, а я не мог исправлять свои писания, раз он не исправляет и не учтет моих поправок. Так и сдали издателю (чтобы получить гроши гонорара) непечатанные черновики. Корректуру мне прислали, когда В.И. был уже в Баку, и я потому же ни йоты не мог изменить. Ежели Б[орис] Федорович [Шлецер] пишет о Переписке, ему надо бы принять во внимание “Тройственный образ совершенства”, с которым мои письма теснейше связаны» (Минувшее. Исторический альманах. 6. М., 1992. С. 262–263).

Когда летом 1924 г. В. Ходасевич прислал Гершензону свое стихотворение «Хранилище», Гершензон отвечал ему: «Ваши стихи очень хороши, и вы понимаете, как близки мне; стих “Претит от истин и красот” я мог бы взять эпиграфом к своим “письмам из двух углов”» (*Ходасевич В.* Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 630).

Если Гершензон считал «Тройственный образ совершенства» как бы непосредственным продолжением своей части «Переписки», то соответствующим продолжением писем Вяч. Иванова будут его письма к Ш. Дю Босу и А. Пеллегрини, написанные в 1930 и 1934 гг. (см.: СС, III, 417–450<sup>1</sup>). После перевода и опубликования «Переписки» на Западе она породила целую литературу, посвященную ее интерпретации и критическому осмыслению. См.: *Davidson P. Viacheslav Ivanov. A reference guide.* N.Y P. 374. Наиболее высокая оценка переписки принадлежит немецкому литературоведу Э. Р. Курциусу, который в своей книге «*Deutscher Geist in Gefahr*» (1932) писал: «Переписка» является самым значительным из сказанного о гуманизме после Ницше» (цит. по: СС, III, 808).

Об отношениях М. О. Гершензона и Вяч. Иванова см. статью В. Проскуриной «Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон. На пути к “Переписке из двух углов”» (*Cahiers du Monde Russe*, XXXV (1–2). 1994. С. 377–392). В первом издании «Переписки» имелось примечание «От редакции»: «Письма эти, числом двенадцать, писаны летом 1920 года, когда оба друга жили вдвоем в одной комнате, в здравнице “для работников науки и литературы” в Москве».

---

<sup>1</sup> Здесь и далее везде «СС» означает: Иванов Вя. Собрание сочинений. Т. I–IV. Брюссель, 1971–1987.

## Тройственный образ совершенства<sup>[99]</sup>

### I

Так учил Анаксимандр о взаимной вражде созданий: «Начало и исток вещей – бесконечное; и откуда вещи рождаются, в то самое они и разрешаются неизбежно, ибо терпят друг от друга в урочное время искупительную кару за свое нечестие»<sup>[100]</sup>. Ныне, через 25 веков, закон круговращения, угаданный Анаксимандром, обнаружен наукой. Все сущее в мире – единая субстанция; но единая мировая субстанция пребывает лишь в отдельных формах. Нет ничего самобытного, ибо в основе своей все едино и слитно; но также нет ничего, что существовало бы не как личность. Всякое бытие беспримерно в своей единственности; каждое создание утверждает себя самовластно и силится обращать все окружающее себе на пользу. И так как вне личностей нет субстанции, то каждая личность старается разрушить другую, чтобы освободить из нее и присвоить себе субстанциальное ядро, нужное ей для самосохранения. Так поступает зверь, срывая траву или раздирая другое животное: он разрушает скорлупу, то есть индивидуальную форму, чтобы извлечь часть той субстанции, которая обща ему и истребляемой им жизни.

2. – Таков верховный закон: внутреннее противоречие природы. Она одновременно желает и сохранять личность как целое, и освобождать субстанцию, что невозможно без разрушения личности. Поэтому она вооружает каждое свое создание сразу и средствами защиты, и средствами нападения; она истощается в усилиях скрыть ядро как можно дальше, как можно тщательнее, и для того одевает его тысячью скорлуп, – и с таким же усердием учит другие создания добираться до ядра сквозь все скорлупы. В человеке двойной замысел природы достиг наивысшего осуществления: лучше всех созданий человек умеет охранять целостность собственной личной формы и лучше всех умеет добывать родовую субстанцию из других природных тел. Для животного круг потребления ограничен: оно умеет разбивать только немногие определенные формы, в которых ядро сравнительно доступно: таково питание животного; или же оно использует такие природные тела, чья личная форма уже помимо его была разрушена: так птица складывает гнездо из сухих веток; и в обоих случаях животное использует лишь незначительную часть субстанциальных сил, потому что оно не умеет добираться до глубже лежащих, до скрытых за дальнейшими скорлупами в том же потребляемом теле. Человек далеко превзошел животных; он научился, во-первых, добывать нужные ему элементы из природных тел, казалось бы совершенно чужеродных ему, – из железа и камня, из яда и радия, и бесчисленных других; во-вторых, несравненно глубже проникать во все вообще потребляемые им природные тела; и в-третьих, так воздействовать на природу, чтобы она создавала нужные ему для потребления формы в том месте, в том количестве и такого качества, как ему удобно для легчайшего их использования. Человеческая техника есть прежде всего умение разрывать оболочки природных тел – сначала личную, затем видовую, затем оболочку более обширного рода, и далее до бесконечности, и тем освобождать заключенные в них субстанциальные силы; потому что, чем глубже внутрь, тем тождественнее между собою субстанции тел и тем тождественнее они субстанции человека. Ветка на дереве вполне сохраняет свою личную форму, в засохшей, которую тащит муравей, личная форма разрушена; это значит, что в ней освобождены для пользования – притом освобождены не самим муравьем, – только те силы, которые были заперты в ее личной форме. Их мало, но муравей доволен ими: больше он не умеет добыть. Все остальные богатые силы веточки еще недоступны; их крепко сторожит ее видовая форма и не отдаст без борьбы; веточка еще имеет свою волю, непокорную муравью. Но человек разбивает и эту скорлупу, и еще многие скрытые за нею, и постепенно освобождает

из веточки на службу себе ее глубочайшие силы. Потому что каждое создание имеет не только свою личную форму, но и форму того вида, к которому оно принадлежит, и не только форму своего вида, но и форму рода, включающего в себя вид, и еще далее, форму семейства, класса и царства, к которым принадлежит его род, – бесчисленные оболочки от неповторимого личного своеобразия до мировой всеобщности. Так каждое создание совмещает в себе предел и беспредельность в непрерывной последовательности переходов.

3. – Ясень, из которого сделан мой стол, был такою же живою личностью, как я сам. Он был отличен от всех других ясеней; зверь и птица верно знали его по его личным признакам, как мы узнаем своего знакомого в толпе. Как у человека есть много дум, и чувств, и отношений, так полно было и его существование, совершенно отдельное, и вместе вплетенное в общую жизнь вселенной. Он жил богатой и сложной жизнью в непрерывном общении со всей природой, исполняя таинственное дело, к которому он, особенный, был предназначен. Но человек сказал ясеню: «Я не хочу иметь дела с тобою как с личностью, потому что как личность ты равен мне, я же хочу, чтобы ты служил мне; поэтому я убью тебя, чтобы уничтожить твою самостоятельность». И срубил этот ясень и много других, и распилил их на доски, и смешал эти доски без разбора. Целостное в деревьях и все, что было в них личного, он истребил смертью; в досках уцелели только родовые признаки ясеня, то есть особенные силы, присущие любому ясеню, а этот скудный пучок сил, зато уже вполне покорных, человек легко мог обратить на пользу себе.

4. – Так создает человек свои вещи. Он все их создает из природных тел. Но всякое природное тело индивидуально; взятое во всей живой полноте своих личных свойств, оно непригодно для человека. Чтобы овладеть им, надо прежде всего вырвать его из могучего единства природы, а это значит – убить его как личность, то есть срубить или выкорчевать дерево; тогда получается труп: первая победа человека. Но и труп еще редко бывает пригоден; выдернутую морковь можно сразу съесть, но что можно сделать со срубленным ясенем, когда он лежит пред тобою в своих природных размерах, целый, многоветвистый и многолиственный? Хотя и труп, он все еще отчасти личность, так как сохранил свою индивидуальную форму; в нем еще много самобытных сил, непокорных человеку. Надо погасить и эти личные силы, надо обезличить его вполне, чтобы в нем остались только признаки, общие всем ясеням на свете; и вот человек обрубаёт ветви, сдирает кору и распиливает труп на части. Итак, первое дело человека – убить, второе – уничтожить личную форму. На этом принципе основана вся техническая деятельность человека. Ни одно дитя природы не может удостоиться высокой чести принять в себя луч человеческого разума, прежде чем оно не умрет и не отдаст своего тела на погребение.

Но и этим обычно не довольствуется человек. Умертвив создание и разрушив его личную форму, он смешивает разъятые части мертвого тела с такими же разъятыми частями многих других природных тел, совершенно отличных от первого. Он из частиц многих убитых им разнородных индивидуальностей приготовил жидкую смесь – политуру и покрыл ею доски; чтобы изготовить обои, он взял по пригоршне частиц от множества разнообразнейших некогда живых природных тел и перемешал их по своему произволу. Этим смешением обезличение природных тел доводится до предела, потому что в обрубке дерева и в доске еще отчетливо узнавался по крайней мере вид – ясень, но в полированном столе узнается уже только род – дерево, наконец, в обоях, также сделанных из дерева, нельзя узнать уже ни личности, ни вида, ни даже рода какого-либо из многочисленных природных созданий, которые были закланы на изготовление этого куска обоев. Из таких смесей, из перетасованных до совершенной неузнаваемости, взаимно обезличивших друг друга кусков умерщвленной природы, создано почти все, что нас окружает, – наша материальная обстановка, орудия, одежда и пища.

5. – Ненасытная алчность толкает человека проникать в недра природы и отыскивать глубоко в ее живых созданиях частицы общей им и ему субстанции. Разум – оружие его завоеваний; и тот же разум учит его снова замыкать эти освобождаемые им силы в прочные формы,

на этот раз – в человеческие, в формы вещей. Разрушая природную организацию, разум заменяет ее своею; человек мыслит: «Этот пучок природных сил я сам, насколько умею, изъеволю из оборота природы. Я узнал себя в них, я освободил их, и ныне да примут они мой образ, чтобы служить мне наравне с моими членами, которые уже от природы – я». Значит, изготовлением вещей человек тормозит непрерывное действие мировой антиномии: вместо того чтобы природные силы, освобождаясь из индивидуальных природных форм, сразу или вскоре переходили в новые такие же природные образования, он, освобождая, насильственно задерживает их в своем обладании, как бы в награду себе за труд их освобождения. Он сочетает их по своему смыслу, и тем кладет на них клеймо собственника – разумеется, только на время, так как вполне изъять их из ведения природы невозможно; они постепенно распадаются из состава, запятого человеком в вещи, и возвращаются в мировую жизнь. Итак, в производстве вещей человек следует всеобщему закону, который велит каждому неделимому<sup>[101]</sup> в меру данных ему средств разрушать другие неделимые и присваивать себе часть их жизненной силы. Первоначальный и простейший вид такой разрушительной деятельности и такого временного захвата – питание. Производство вещей есть также род питания: узаконенное природою убийство с целью грабежа и временного пользования.

6. – Но в силу той же основной антиномии человек встречает в своей работе двойное препятствие. Природа повелительно требует от него убийства и в то же время ревниво затрудняет ему убийство, снабжая всякое создание, на какое ему дано посягнуть, тысячью оборонительных средств; прежде чем добраться до нужных ему элементов в чужом теле, он должен разрушить не одну, а множество скорлуп, которые все заключены в личной форме. Эта разрушительная работа есть труд, то, что трудно. Труд быку срывать и разжевывать траву, и великий труд человеку умертвить и размельчить несчетное множество природных созданий, чтобы создать вещи. Далее, хотя человек не ответствен за свои убийства, ибо исполняет ими веление Единой Воли, но в самом этом велении он постигает свое единство с жертвою: «она однородна тебе; ты окрепнешь ее кровью именно потому, что ее кровь тождественна твоей». Рука, невольно заносщая топор, медлит; стыдно и страшно взглянуть в лицо обреченному брату. Поэтому первый акт разрушения, именно разрушение личной формы, мучителен. Это чувство особенно сильно в первобытном человеке, потому что он еще знает каждое создание как единственную и самобытную личность. Оттого оджибуэй слышит стон дерева, срубаемого без цели; оттого кафр, убив слона, извиняется, говоря, что это случилось нечаянно; оттого коряк<sup>[102]</sup>, убив медведя, просит прощения у трупа, слагая вину на железный капкан или ружье, сделанные русскими; оттого древний Санхониатон<sup>[103]</sup> говорит о первом поколении людей, что они поклонялись травам, которыми питались. Потому что в убийстве ради питания есть не только верховная принудительность, но есть и свободное решение убийцы, есть его корысть и выбор. Эту несправедливость сохранения своей личной формы ценою разрушения чужой ощущает первобытный человек; за этот грех, думает он, придет душа убитого животного мучить его. Мы уже почти не чувствуем индивидуальности в живом создании природы; но все же древнее чувство еще не совсем угасло в нас, и убийство нам тем страшнее, чем больше личная форма жертвы похожа на нашу. Разрушение дальнейших оболочек, видовых и родовых, сопряжено все с меньшим стыдом, и стыд умалывается по мере удаления от личной формы вглубь вещества.

7. – Напротив, вторая часть задачи, следующая за разрушительной работой, – формирование человеческих вещей – соединена с высоким чувством, с гордым самосознанием разума. Однако труд и здесь не менее велик. Воля материи неистребима, даже в атоме еще сохраняется могучая сила инерции, жажда покоя. Как бы ни обработал человек вещество, оно все-таки противопоставляет его творческому замыслу по крайней мере свою косность; и даже если бы оно пожелало добровольно выйти из своей неподвижности, оно не знало бы, куда человек желает его направить. Поэтому творчество требует новых усилий, чтобы сдвинуть вещество и указать ему должное место. Усталостью этих последних усилий была рождена в Древней Гре-

пии мечтательная ложь об Орфее<sup>[104]</sup>, который звуками своей лиры заставил камни сложиться в стену. Но и игра на лире – еще усилие; так даже в мифе человек не смел мечтать о том, чтобы вещество добровольно и сознательно следовало велениям человека.

8. – Природа поставила труд условием потребления; только в совокупности обеих частей исполняется ее двуединый закон. Но человек хитрым разумом измыслил способ обходить закон. Он рано заметил (отчасти это знают уже животные), что можно облегчать свой труд, натравливая родовые силы одного природного тела на другое. Это коварство и положено им в основание техники: его основное правило – отыскивать в самой природе такие пучки сил, которые умели бы по его желанию превозмогать личную, видовую, родовую самозащиту неделимых, так, чтобы в непосредственной борьбе изнашивались они, рабы, а не он, ему же оставался бы только сравнительно легкий труд командования ими. Когда человеку нужно преодолеть волю дерева, заключенную в сцеплении его частиц, он не раздерет дерево своими руками: это трудно. Он отыщет в природе такое создание, которое таит в себе власть как раз над сцеплением древесных частиц, и он прежде всего вырвет это создание из общего состава природы, чтобы сделать его покорным себе, потом вытравит из него лишние видовые и родовые силы, сохранит лишь те, которые пригодны для данной цели, приведет их в целесообразный порядок и тогда пошлет эту небольшую рать сил – топор – в нужном направлении войною на дерево; и лезвие топора действительно легко побеждает волю дерева. Но и эти действия над железом он так же совершает не лично, а через посредство многих других поработанных им природных сил, – и так далее назад до бесконечности. Именно этой «хитростью разума»<sup>[105]</sup> человек всегда и всюду побеждает природу: искусно возбуждая в ней и направляя междоусобия. Он заставляет останки одного трупа из последних уцелевших сил нападать на останки другого и останки третьего, четвертого, пятого – на останки тех двух, пока в их взаимной борьбе не уцелеет лишь нужное ему сочетание частиц. Всякое человеческое орудие есть пучок целесообразно сохраненных и приспособленных природных сил, и производство представляет собою многочисленную иерархию орудий, в строгой последовательности воздействующих одно на другое и по нескольку на одно, пока не достигается конечная цель, предумышленная человеком.

9. – Но чтобы превратить природную силу в послушного исполнителя, в орудие, необходимо прежде всего лишить природное тело, в котором она заключена, его индивидуальной воли. Наименьшее, чего требует человек безусловно от всех созданий, обращая их в орудия, – отречение от личной воли; далее же он обезличивает их в разной мере, смотря по служебной задаче, какую он ставит им. Где ему важно сохранить и динамическую силу создания, он оставляет последнему жизнь, ограничиваясь только подавлением личной воли; в других он погашает все личные признаки, то есть смертью разрушает их личную форму, и так далее, до погашения всех признаков личности, вида и ближайших родов, так что сохраняются только общие физико-химические свойства вещества. Пашущий вол есть такое же орудие человека, как вилы и дубильная кислота: в нужной степени обезличенный и приспособленный посредник между человеком и самостоятельностью природных тел. Весь труд борьбы с их самозащитой несет посредник, который и расходует свою энергию в этой борьбе, человек же присваивает себе плоды борьбы, то есть уцелевшие по его замыслу силы побежденных тел.

10. – На этом принципе основано уже питание животных. Цель питания – извлекать из почвы, из воздуха и из солнечных лучей те вещества, которые субстанциально-тождественны организму питающегося создания. Животное предоставляет злакам первоначальный труд этой переработки и затем, пожирая траву, грабит у нее плоды ее усилий – азотистые вещества, углеводы и соли, добытые травой из почвы, из воздуха и из солнечных лучей. В свою очередь человек выпускает быка на тучное пастбище с хитрою мыслью: «Мне лень самому добыть из травы нужные мне вещества в нужном количестве; мне пришлось бы для этого съесть и переварить целые пуды ее, что затруднило бы мое пищеварение. Сделай ты это за меня; пожри траву, выдели ненужные части, а азотистые вещества, жиры и углеводы переработай в кровь

и мускулы; тогда я приду и отниму их у тебя в готовом виде, а остальной труд – превращение твоего фабриката в мою, человеческую субстанцию – доделают уже мои собственные зубы и желудок». Здесь – та же последовательность орудий; трава для быка, бык для человеческого желудка и человеческий желудок – для непостижимого человеческого «я» – суть фабрики, обрабатывающей сырье, суть орудия.

11. – Так орудийность присуща самой природе и не изобретена человеком; он только научился пользоваться ею сознательно и распространил ее применение на всю свою деятельность. Но оставалось сделать последний шаг, чтобы завершить систему орудий. На человеке еще лежало руководство орудиями, неустранимое потому, что орудие по самой сущности лишено воли. Этот последний вид труда – руководство орудиями – мог быть поручен только человеку. Итак, оставалось распространить принцип посредничества на человека и превратить брата своего также в орудие, именно в наивысшее из орудий – в подневольного руководителя всей иерархии низших орудий: в раба. А для того чтобы раб мог в этом деле вполне заменить хозяина, последний должен был оставить рабу не только жизнь, но и всю его личную форму в целостности, отняв у него, по общему правилу орудийной хитрости, только личную волю. Рабом завершилась система орудий; над рабом же стоит сам хозяин, чей труд сводится теперь только к руководству волею раба. Но и самое это руководство волею рабов человек потом возложил на других рабов, так что постепенно образовалась многосоставная иерархия людей-орудий, чрез посредство которых свободная воля хозяина направляет мускульные усилия раба совершенно так, как и раб осуществляет свои усилия чрез посредство многих подчиненных друг другу материальных орудий. Ядром всей этой сложной системы остается строгая триада: хозяин, раб, орудие; или иначе: свободный замысел о преобразовании естества – разумное орудие, способное воспринять и исполнить этот замысел, – и орудие полуразумное или вовсе неодушевленное, непосредственно преобразующее природу согласно этому замыслу.

## II

12. – Нам никогда не узнать, какая тайная сила, какое предназначение изнутри понуждает человека выедать тысячи верст леса и недра земли, зарываться вглубь Африки и в сердцевину металлов, и без усталости преобразовать естество. Производство вещей – то же питание; так же и здесь ставится целью добыть из природного тела его родовые силы и задержать их в своем временном пользовании. Но питание имеет естественный предел: сытость, то есть самосохранение особи; человек же в своем производстве не знает границ, – напротив, за пределом животного самосохранения его алчность разгорается чем дальше, тем сильнее. Покорить часть природных сил, чтобы ими укрепиться, чтобы обеспечить свое хрупкое существование – да, это нужно; тут понятна настойчивость воли. Но этим ли одним озабочен человек? Если бы целью всех человеческих стараний было только обеспечить жизнь, этот предел дав но был бы достигнут равномерно для всех людей и на земле наступило бы сытое довольство. На что человеку лишняя добыча? Сколько бы он ни присвоил себе природных сил, его мощь не возрастет дальше положенного размера. Накопленное донныне богатство нисколько не удлинит нашей жизни: мы живем даже, вероятно, меньше, нежели дикари; наши мышцы дряблеют, наш глаз не так зорок; наших богатств едва хватает на то, чтобы снадобьями врачевать нажитые болезни. Весь наш комфорт не стоит и миллионной доли тех безмерных напряжений, в каких истощается человечество. Нет никакого сомнения, что за самые вещи человек и не стал бы платить так дорого. Но, кажется, в вещах он ищет другого.

13. – Все в мире существует как личность, и каждая личность, подобно крупинке радия, испускает из себя во все стороны несчетные заряды, как бы торпеды, на большее или меньшее расстояние вокруг себя, смотря по роду своему. Кто попадает в круг ее действия, тот мгновенно подвергается обстрелу: в него вонзается торпеда, что мы называем его восприятием. Торпеда же эта, исходящая из личности, представляет собою необозримую иерархию соподчиненных сил, которые все заряжены неповторимым своеобразием данной личности, но заряжены в разной мере и располагаются в порядке убывающей специфичности, через семейство, вид и род, до элементов едва окрашенных, почти нейтральных, какие присущи всякому бытию. Внедряясь в другую личность, торпеда идет как раз нейтральным концом, предъявляя право всеобщего родства. Таков неизменный закон воздействия.

Итак, все сущее в мире совмещает в себе мужское и женское начала: внедрение и восприятие. И вот, на низшей ступени тварь совершенно слепа. Личность безвольно, бесцельно излучает в мир неисчислимыми тучами стрел страстное движение своей безличной воли и так же безвольно приемлет в себя чужие заряды; изначально влюбленная, еще не знает, кого любит, и слепо раскрывает объятия всему навстречу.

Восприятие есть первая школа живой твари; Ева первая вкушает от древа познания. Соприродный заряд, внедряясь в личность, изменяет ее состояние; и наступает срок, когда в этом вынужденном своем изменении личность постигает себя длительною, то есть подлинно-сущею; точно так же и действующую силу она познает в ее движении, как подлинно-сущую, притом как соприродную ей в том плодоносном ядре, которое та внедряет в нее. Эти первые три знания суть вместе с тем функция; так зарождается нераздельная слиянность плоти и духа – чувствительная нервная система.

Но рабство длится еще; чувствующая личность все так же безвольна. Дальнейшим развитием тварь выходит на путь свободы. Именно в долгом опыте восприятий она привыкает узнавать уже в первых, сравнительно нейтральных элементах специфичность заряда и научается, руководясь этим чувством, выбирать среди осаждающих ее зарядов. Отныне личность наполовину свободна: она допускает внутрь себя только те заряды, которые несут ей ядро, плодоносное в ней, остальные отталкивает; восприятие раздваивается на питание и оборону. Это новое

функциональное знание есть способность, заглатывая нейтральные частицы заряда, предузнавать по ним ядро, иначе говоря, умозаключать по сопутствию признаков. Но такое умозрение невозможно в пределах единичного; очевидно, тварь уже познала в опыте сверхличную, родовую субстанцию вещей как постоянное сосуществование признаков, то есть познала закономерность и своего, и всякого чужого бытия. А раз оба закономерны, то оба и равноправны. Итак, в актах питания и отталкивания личность осуществляет сразу три старых своих познания и три новых, утверждает себя и мир не только реальными и однородными, но также закономерными и равноправными. Так зарождается двигательная нервная система, и в ней заодно разум и воля. Оба поистине рождаются вместе, и орудие их навсегда – заключение по аналогии, что есть отвлечение.

В произвольном выборе – полусвобода. Оборона навсегда остается такою, но питание ведет дальше, к свободе. Ибо в навыке обороны тварь постепенно научается отступать от враждебного заряда, двигаться назад и в стороны. Двигаясь и натываясь, она познает многое; вновь обретенная способность целесообразного движения постепенно расширяет сферу питания: личность уже не ждет питательных восприятий – она сама начинает искать их; она входит в бесчисленные круги обстрелов и, чутьем узнавая по слабой окраске родовую содержимость встречаемых зарядов, приемлет лишь нужные. Так все точнее познается и тождество однородных личностей, и постоянство собственного бытия, и закономерность своего отношения к ним. И дальше, узнав в опыте свой питательный род, тварь научается уже не бродить по миру наудачу, а устремляться целесообразно в сферу нужных ей родовых обстрелов и глотать заряды уверенно; она приобрела свободу восприятий, пассивную свободу. Такова женская история твари. Некогда восприятие было насилием над личностью, теперь личность сама идет к любимым и приемлет себя по своему избранию.

Но личность также муж изначально, ибо непрерывным разряжением своим обсеменяет мир. Каждый личный заряд содержит в себе родовое ядро, зародыш. В начале личность слепо сеет окрест, яростно сеет заряды, сама не зная куда: на камни, в пучину, лишь случайно в матернее лоно. Она не знает, кто ей плодоносен, кого она хочет любить. Только питание научает тварь узнавать роды существ; и личность, для восприятия приближаясь к другим, но и сама обсеменяя их, научается узнавать свой плодоносный род в единичных личностях; отвлечением она достигает активной, мужской свободы – сознания своей власти над миром.

Наконец, высшее свое состояние личность обретает в труде, потому что в труде сочетается мужская и женская свобода. Трудиться – значит самовластно внедрять свой личный заряд в другую личность так, чтобы она, изменившись внутренне, выслала мне в ответ заряд питательный для меня. Труд мужествен, цель труда женственна; трудящийся мужской силой своею оплодотворяет женское естество чужой личности, чтобы сын, рождаемый ею, обратно оплодотворил его самого нужным восприятием, как женщину. И так как цель труда – создать определенное восприятие, то труд неизбежно основан на отвлеченном знании – на познании обоюдной родовой закономерности; трудящийся, чтобы получить желаемый эффект, должен знать и родовую особенность своего заряда, и специфическую плодоносность матерней силы.

Так из восприятия развилось питание, из питания труд, и труд включает в себя питание и восприятие, как свои меньшие концентрические круги. Труд есть только целесообразное питание, или, что то же, произвольное творчество восприятий. Восприятие – рабство, питание – полусвобода, труд – свобода, то есть господство над миром. Неверно сказать, что в начале было Слово; и неверно сказать, что в начале было действие<sup>[106]</sup>; но истинно жизнь началась восприятием, из восприятия родилось родовое представление, из него – слово и действие.

14. – Жизнь в существе своем – непрерывный поток восприятий; мир непрерывно вторгается в единичную тварь, питая или разрушая ее. Низшие создания пассивно воспринимают мировые заряды, высшие умеют сами выбирать питательные и отклонять пагубные, но только человек научился целесообразно внедряться в вещи и изменять их так, чтобы получать от

них нужные ему восприятия. Так разум сочетает женское и мужское начала в единство: но женское начало первородно в человеке и навсегда основное, мужское же производно и служебно. Малейшее восприятие безвозвратно изменяет тварь; и так как жизнь есть непрерывный поток восприятий, то тварь преобразуется неустанно. Поэтому нормальная жизнь человека есть перемежающийся ряд восприятий и внедрений, где из предшествующего опыта восприятий рождается замысел внедрения с целью стяжать высшее восприятие; и вся культура – не что иное, как целесообразное творчество восприятий. Человек хочет не создавать, а ощущать; только ради высшего предвкушаемого ощущения он принужден создавать; и радость его – только в восприятии и в надежде на восприятие, творчество же, усилие, труд – проклятие человека, щедро оплачиваемая неволя. Восприятие предшествует творчеству, ставит ему цель, пока только мечтаемую; творчество следует за восприятием, почему и сказано: *Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan*<sup>[107]</sup>. Оттого наука, которая есть упорядоченное восприятие, идет впереди, указуя путь упорядоченному внедрению – технике.

15. – Труд – наивысшее самоутверждение человека, ибо в труде личность преднамеренно насилует всякую другую личность. Подсмотрев у природы орудийную хитрость и научившись применять ее, человек в ней, в этой хитрости, нашел универсальное средство порабощения. С тех пор как природные тела стали сами покорять друг друга по его предначертанию, его мощь безмерно возросла; и постепенно он утверждался в сознании своего неограниченного могущества над естественным миром. Труд – его третья, наивысшая школа. Только в технической деятельности он ежеминутно почерпает уверенность, что и сам он реален, что реален и мир, и что он способен по своему произволу входить в мир и присваивать его себе.

Как видно, человеку дороже покоя и жизни – непрерывно ощущать свою власть над миром, знать себя не игрой стихийных сил, а самозаконным и старшим между ними. Он все же в их власти и, конечно, всегда будет покорен им, но в малом круге, сопредельном ему, он может утверждать свое господство над ними. Покорить природу – смешные слова! Природа беспредельна вширь и вглубь; наша власть простирается только на самую малую часть ее, притом – лишь в самую малую глубину. Каких бы успехов ни достигли с веками наука и техника, – они не овладеют ни круговращением земли, ни даже направлением комариного полета, и все их завоевания – жалкий обрывок неизмеримого целого, песчинка от Чимборазо<sup>[108]</sup>. Но пусть владычество над природой лишь самообман: видно, не может человек не желать. И кто знает, в этой пожирающей жажде власти не руководит ли человеком некое тайное знание? Не почуял ли он в стихиях готовность и радость служить ему и бессознательно следует голосу своей царственной крови? Как юный царь среди буйных слуг отца, он предан на их волю, но и он знает их рабами, а себя – рожденным для власти, и они, встречаясь с ним в одиночку лицом к лицу, смущенно опускают глаза пред его непреклонным взглядом.

16. – Не рукотворные вещи нужны человеку, а самосознание своего господства над внешним миром; не для комфорта несет он великие труды, но для того, чтобы ощущать свою власть и ежеминутно видеть ее возрастающей. В каждом своем техническом действии он говорит природному созданию: «Ты не реально в целом; реальна в тебе только та частица, которая единокровна мне, все же остальное в тебе – призрак; свое я по праву возьму из тебя, а все остальное обращу в прах, чтобы доказать себе и тебе, что оно действительно прах»; и, сказав, он делает так и на опыте убеждается в своей правоте. Его победы над природой дороги ему уже не как добыча, а как символ. Животное тоже утверждает свою частичную мощь над природой, питаясь; но оно ограничено издревле неизменной сферой власти, человек же нудится расширять свою державу в каждое мгновение за всякий достигнутый предел. Вот почему он творит без отдыха, зарываясь все глубже в глубь пустынь и в недра вещества.

17. – Но еще и другому творчество учит человека. Только в своих созданиях человек узнает, что он есть. Ибо сам он для своего разума – та же природа, темная стихия. Сила, которая в нас, – чего она хочет и что она может? Нам не узнать этого иначе, как по ее проявлениям;

всякое другое самопознание, непосредственное, остается смутной догадкой, которую только опыт может превратить в уверенность. Создав вещь, человек с жадным удивлением оглядывает свое создание: «Так это – я?» Его побуждала к творчеству безотчетная потребность осуществить себя и увидеть себя, или иначе – внутреннее свое сделать для себя объектом.

18. – Потому что, в отличие от всех других существ, человек одарен двойным зрением и живет сразу в двух мирах. Уже зверь в своей добыче, хотя смутно, но уверенно, познает сверхличную, родовую субстанцию. Человек достиг полноты раздвоения: пребывая, он воспринимает явления в их индивидуальной целостности; действуя, он сквозь единичную форму воспринимает родовое ядро. Орудийность покоится на отвлечении. Всякое действие в мире есть воздействие на мир, а воздействовать значит использовать общую энергию, замкнутую в единичном. Поэтому взор действующего безотчетно прободает оболочку явления и улавливает только его содержимое, тогда как бескорыстный взор объемлет именно личную форму, ее лелеет и освящает. Но заблуждение думать, что личная форма, как непроницаемая преграда, задерживает восприятие и поглощает его. Сквозь личную форму, как сквозь магический кристалл<sup>[109]</sup>, взору открывается беспредельная даль; в бескорыстном восприятии дух непосредственно общается с целостным бытием, и чем отчетливее созерцание единичного, тем ярче предстает духу слитный, нераздельный, непознаваемый разумом образ действительности. Напротив, орудийное восприятие бесконечно беднее; оно насыщается тотчас, как только уловит в необозримо-сложном содержании единичного объект своей корысти, искомую родовую силу. Тогда мгновенно вспыхивает ярость желания; взор, устремленный на предмет желания, слепнет на все остальное, и явление предстает духу уже не как волшебное зеркало, а как непокорная данность, которая должна быть побеждена. Поэтому между непосредственным восприятием и восприятием действенным нет качественного различия, в чем и обнаруживается единство человеческого существа. Непосредственное восприятие открывает безграничную перспективу, в которой, однако, даже ближайшая пядь не видна раздельно; напротив, действенному восприятию видна за конкретным именно только одна ближайшая пядь, но зато с полной отчетливостью. Созерцая бескорыстно, человек провидит мир в его предельном совершенстве, а действуя, он осязательно нащупывает каждую последующую ступень и уверенно идет к этому совершенству.

### III

19. – Мир не мертв, но жив, не кончен и поставлен на место, а только начат как целое и непрерывно растет эволюцией всех отдельных созданий. Как в почке невидимо и непременно начертан план цветка и плода, так в мироздании от века заложен план его предельного строя. Низшая тварь не догадывается о своем служении: она безотчетно осуществляет тот план химическим изменением своего вещества и закономерностью своих инстинктов. Только человек, один из всех существ, знает мир и себя неоконченными. Мир растет, изменяясь, и потому явление – только личина: так обличает человек ложь воплощенного мира и запредельную правду. Сквозь насущную действительность ему просвечивает зыбкое видение иной действительности – подлинной; миру видимому и осязаемому, миру раздельному в его душе противостоит целостный образ лучшего мира, не воплощенный, но неизбежно долженствующий воплотиться. В каждой человеческой душе есть образ совершенства, полный и тождественный у всех, и люди разнятся друг от друга только размерами его освещенной части. Этот образ в полноте своей не может быть мыслим, но, невидимый сам, он один приводит в движение человеческую волю, один внушает идеалы, диктует желания и определяет оценки. Поскольку человек ощущает его целиком, единый образ воспринимается им в трех видах: как образ своего лучшего «я», как образ лучшего мира и как образ своего лучшего положения в мире. Во всех этих трех формах образ совершенства освещается сознанием только частично, в силу контраста с раздельной действительностью, как бы вспыхивая гневом на самозванство явления, выдающего себя за абсолют.

20. – Всякое творчество есть осуществление идеального образа, предсуществующего ему в творце. Нашему взору ничто не предстает как последний рубеж, но в действительном мы всегда провидим должное. Созерцая реальную вещь, человек в своем духе одновременно воспринимает два образа: один – как бы зеркальное отражение вещи в духе, образ отчетливый во всех подробностях и верный, но не вызывающий никакого движения в духе, подобно тому как отражение ветлы в реке не волнует речной глади; и другой, зыбкий и смутный, но возбуждающий чувство. Человек не властен сделать так, чтобы в его душе не возник идеальный образ созерцаемой вещи: образ возникает самопроизвольно и неизбежно. И так как мы ежеминутно соприкасаемся с бесчисленными реальностями, то в нас ежеминутно рождаются бесчисленные идеальные образы, но в большинстве столь бледные, что мы вовсе не сознаем их.

21. – Если бы духовный взор человека был достаточно зорок, если бы идеальные образы предстояли ему так же отчетливо и ясно, как видимая вещь предстоит телесному оку, – ничто не нудило бы волю к воплощению их, и творчества не было бы вовсе. Но образ совершенства едва светится в душе; тусклы видения нашего духа: вспыхнут в тумане и влекут неотразимо, но терзают взволнованный дух сомнением и неясностью своих очертаний. Вижу, Господи, но вижу ли подлинно? Не ложный ли призрак мерещится мне? И что именно вижу? Сердце трепещет от радости, лечу навстречу чудному гостю, но дай мне осязать его, чтобы узнать и поверить! – И обречен человек близорукостью духовной и неверием своим творить в материи; должен облекать мечту свою в вещество, чтобы чувственно удостовериться в ее реальности и чтобы еще от братьев своих, верящих, как и он, лишь телесному опыту, услышать подтверждение ей.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

Текст публичной лекции, прочитанной М. О. Гершензоном в Киеве 29 марта 1917 г., впервые был опубликован в историческом альманахе «Минувшее». М.; СПб., 1992. <Вып.> 11. С. 232–248. Оригинал работы хранится в ОР РГБ. Ф. 746. К. 10. Ед. хр. 22. Составитель В. В. Сапов.

2.

Всестороннюю критику теорий прогресса дал С. Н. Булгаков в статье «Основные проблемы теории прогресса» (1902). См.: Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990 (приложения).

3.

Де-Роберти (Де Роберти де Кастро де ла Серда) Евгений Валентинович (1843–1915) – русский социолог и философ-позитивист, в 1908–1915 гг. профессор социологии в Психоневрологическом институте в Петербурге.

4.

Цитата из стихотворения «Сижу задумчив и один» (1835) (Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 82).

5.

Марафон – селение в 40 километрах от Афин, в районе которого 13 сентября 490 г. до н. э. произошло сражение между греками и персами, окончившееся победой греков.

6.

Имеется в виду начальный период Первой мировой войны: 4 августа 1914 г. немецкие войска вторглись на территорию Бельгии, которая отвергла ультиматум Германии о пропуске германских войск через ее территорию. Бельгийская армия оказала упорное сопротивление противнику на рубеже реки Маас. Созвучные Гершензону мысли высказывал и С. Н. Булгаков в своей публичной лекции «Война и русское самосознание»: «Во всей Европе, как будто неожиданно для нее самой, проснулась старая доблесть, и здесь опять-таки живой эмблемой является Бельгия, – доблесть бельгийская. Европа еще духовно жива, мещанство оказалось болезнью, которая не затронула жизненных органов, такова радостная, благая весть этой войны. Там, где виделось порою словно духовное кладбище, царство комфорта и цивилизации, неверия и расчета, ныне вспыхнуло пламя, испепеляющее многое из того, что достойно сожаления, и отделяющее шлаки от чистого металла» (Булгаков С. Н. Указ. соч. М., 1915. С. 22–23).

7.

Ср. с одной из «Главных мыслей» Эпикура (XXV): «Если ты не будешь всякий раз сводить каждое действие к естественной конечной цели, а будешь и в предпочтении и в избегании отклоняться к чему-нибудь иному, то поступки твои не будут соответствовать словам» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 440).

8.

Эта мысль впервые, кажется, наиболее отчетливо и ярко была выражена Лейбницем в «Теодицее»: «Универсум... в своей совокупности есть как бы океан, малейшее движение в нем распространяет свое действие на самое отдаленное расстояние...» (Лейбниц Г. В. Сочинения в 4 т. М., 1989. Т. 4. С. 136). У Ф. М. Достоевского эта же мысль приобретает отчетливо выраженный этический характер: «...ибо всё как океан, всё течет и соприкасается, в одном

месте тронешь – в другом конце мира отдается» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1976. Т. 14. С. 290: «Братья Карамазовы». Кн. 6. Гл. III). Из современников Гершензона о «соборном перезвоне» вселенной много – и в стихах, и в прозе – писал Вяч. Иванов.

**9.**

Мысль, владевшая Л. Н. Толстым в период написания «Исповеди» (конец 70-х – начало 80-х годов). «Теперь я вижу, – писал Толстой, – что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей» (Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 135).

**10.**

Слова из Евангелия от Иоанна: «Иисус сказал...: кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возьмет его, и Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим» (14, 23).

**11.**

Парафраз евангельского изречения: «Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).

**12.**

Пс. 15, 10. Эти же слова цитируются в Деян. 2, 27.

**13.**

Лета – в греч. мифологии река «забвения» в царстве мертвых.

**14.**

«Мысль изреченная есть ложь» – цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830). См.: Тютчев Ф. И. Сочинения в 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 63.

**15.**

«Лес символов» – из стихотворения Ш. Бодлера, прозаический перевод которого Вяч. Иванов поместил в своей статье «Две стихии в современном символизме»: «Природа – храм. Из его живых столпов вырываются порой смутные слова. В этом храме человек проходит чрез лес символов; они провожают его родными, знающими взглядами. Подобно долгим эхо, которые смешиваются вдаль и там сливаются в сумрачное, глубокое единство, пространное как ночь и как свет, – подобно долгим эхо отвечают один другому благоухания, и цвета, и звуки» (СС, II, 547).

**16.**

«Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34).

**17.**

«Дух дышит, где хочет» (Ин. 3, 8).

**18.**

Ср. с размышлениями С. Н. Булгакова о «науке» и «научности», которые он развивает в «Философии хозяйства» и «Свете невечернем». См.: Булгаков С. Н. Соч. в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 174–211; Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 13.

**19.**

Заключительная строка стихотворения Дж. Леопарди «Бесконечное». Ср. перевод В. И. Иванова:

**20.**

Имеется в виду стихотворение И. В. Гёте «Блаженное томление» из «Западно-восточного дивана»:

**21.**

Заключительные строки стихотворения И. В. Гёте «Блаженное томление». См. прим. 20.

**22.**

Слова Иисуса Христа, сказанные ученикам в Гефсимании: «Дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41).

**23.**

«Легкое иго» – парафраз евангельского изречения: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 30). Выражение, часто встречающееся в стихотворениях В. И. Иванова:

**24.**

Умри и стань (нем.) – призыв Гёте из стихотворения «Блаженное томление». См. прим. 20.

**25.**

Речь идет о переводе второй части «Божественной комедии» Данте, над которым работал в это время В. И. Иванов. Еще в 1913 г. в одном из писем к М. В. Сабашникову он сообщал, что «был бы счастлив перевести некоторые отрывки “Чистилища” и “Рай”». Однако в договоре, подписанном В. И. Ивановым в Риме 21 апреля 1913 с издательством М. и С. Сабашниковых «Божественная комедия» не значится (см.: Davidson P. V. Ivanov. Poet, Critic and Philosopher. New Haven, 1986. P. 151). 3 сентября 1919 г. С. А. Венгеров обратился к В. И. Иванову с письмом, в котором писал: «Издательство Брокгауз-Ефрон возобновляет издание “Библиотеки великих писателей” и в ближайшем будущем намечено приступить к выпуску в свет Данте. “Божеств<енную> Комедию” можно было бы дать в старом, хорошем в общем переводе Мина, но хочется дать нечто литературно новое. И вот я обращаюсь к Вам с просьбой принять участие в этом новом переводе. Может идти речь и о переводе всей “Комедии”, и о переводе одной из трех частей. Все дело в том, сколько Вы времени потребуете. Долго ждать не могу.

**26.**

Парафраз евангельского изречения: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52).

**27.**

Согласно Ж.-Ж. Руссо, человек в естественном состоянии находится в гармонии с природой и не испытывает потребности ни в прочных общественных связях, ни в труде, ни в разуме, ни в морали.

**28.**

В этом состоит суть «коперниканского» переворота, совершенного И. Кантом в философии. См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 18.

**29.**

«Мир – мое представление» – доказательству и обоснованию этого тезиса посвящен трактат А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

**30.**

Огненная смерть (нем.) – см. прим. 20.

**31.**

В стихотворении «В Альпах» В. С. Соловьёв писал:

**32.**

Эту же мысль В. И. Иванов отстаивал еще в 1912 г. в письме к Э.К. Метнеру: «...религия, не как внутренний свет только, но как таинство, – внекультурна. Соподчинять таинства явлениям культуры значит отрицать религию... Во всяком случае для меня это основоположение... все равно что сарацинское “Магомед расул Аллах” для крестоносца» (Вопросы литературы. 1994. Вып. II. С. 328).

**33.**

Платон. Тимей, 23а-б.

**34.**

Имеется в виду «символ пещеры», которым начинается седьмая книга «Государства» Платона (514а-б).

**35.**

См.: Рим. 6, 6; Еф. 4, 22; Кол. 3, 9.

**36.**

Ср. с определением «декаданса», которое дает Ф. Ницше: «Быть вынужденным побеждать инстинкты – это формула для decadance: пока жизнь восходит, счастье равно инстинкту» (Ницше Ф. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 567).

**37.**

чистая доска (лат.).

**38.**

См.: Тимей, 22а-б-25d. В. И. Иванов пересказывает свое третье стихотворение из триптиха «Подражания Платону»: «Солон! воскликнул жрец: “Щадят вас дивно годы! Вы – дети, эллины, и старца нет меж вас!”» (СС, I, 787).

**39.**

Обращение «совопросник» имеет в данном случае иронический оттенок: «Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор. 1, 20).

**40.**

В древнегреческой мифологии Мнемосина (Память) родила муз от Зевса.

**41.**

«Соседушка, мой свет!» – начальная строка басни И. А. Крылова «Демьянова уха» (Крылов И. А. Соч. в 2-х тт. М., 1969. Т. 2. С. 94).

**42.**

М. О. Гершензона, как и В. И. Иванова, связывала с Л. И. Шестовым многолетняя дружба. Подробнее см.: Гершензон М. О. Письма к Льву Шестову (1920–1925) // Минувшее. Исторический альманах. 6. М., 1992. С. 237–312. Сразу же после смерти М. О. Гершензона в 1925 г. Л. И. Шестов написал посвященную его памяти статью «О вечной книге», где анализируются последние произведения М. О. Гершензона, в частности, и «Переписка из двух углов», о которой Л. Шестов писал:

**43.**

Перечислены «вечные спутники» Л. И. Шестова, творчеству которых он посвятил ряд специальных исследований: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше», «Достоевский и Нитше», «Победы и поражения (Жизнь и творчество Генрика Ибсена)».

**44.**

М. О. Гершензон цитирует слова В. И. Иванова из последнего абзаца предыдущего письма.

**45.**

Шестой век до н. э. – век расцвета древнегреческих полисов, вершина архаики, уже перерастающей в классику, век рождения древнегреческой трагедии и философии.

**46.**

См.: Второзаконие, гл. 34.

**47.**

Начальные строки стихотворения А. С. Пушкина «Движение» (1825):

**48.**

Единственное желание – вырваться на волю (франц.).

**49.**

Слова Мефистофеля Студенту в первой части «Фауста»:

**50.**

Цитата из последнего монолога Фауста:

**51.**

Прозаический перевод цитаты из стихотворения И. В. Гёте «Завет»:

**52.**

Ср. пер. Б. Л. Пастернака:

**53.**

Слова Иисуса Христа: «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8, 22).

**54.**

Ср. с оценкой Н. А. Бердяева («Основная идея философии Льва Шестова»): «Он боролся против тирании разума, против власти познания, изгнавшего человека из рая, на территории самого познания, прибегая к орудиям самого разума». «Он, в сущности, думал, что у каждого человека есть своя личная истина». «Если есть Бог, то раскрыты все возможности...» (Шестов Л. Умозрение и откровение. Paris, 1964. С. 7–9).

**55.**

Парафраз заключительных строк «Фауста»:

**56.**

Гекатомба – в Древней Греции жертвоприношение сотни быков, совершавшееся в особо торжественных случаях.

**57.**

Эмпирей в греч. мифологии – небо, место света; высшая часть мира. В диалоге «Эмпирей и эмпирия» П. А. Флоренский пишет: «...Если я назвал ваше плоскостное мировоззрение натуралистическим, в смысле известной литературной школы, то наше, по справедливости, следует назвать символическим за то, что в нем познание мира является в то же время “соприкосновением с миром иным”».

**58.**

Имеется в виду основной религиозно-идеологический лозунг Реформации в Германии, провозглашенный М. Лютером: *Sola fide* (лат.) – только верою спасается человек.

**59.**

Под «филогенией» здесь понимается историческое развитие человечества.

**60.**

Лк. 7, 32.

**61.**

«...Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею...» (Мих. 4, 4).

**62.**

Название книги М. О. Гершензона, изданной в 1918 г. в Москве. См. наст. изд., с. 63–114.

**63.**

Знаменитая «загадка Сфинкса» (крылатой девы-львицы) звучит так:

**64.**

См.: Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 6.

**65.**

Образ из речи Заратустры «О трех превращениях»: «Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев» (Ницше Ф. Там же. С. 18).

**66.**

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» (Втор. 5, 8).

**67.**

Психофаг – букв. «пожиратель душ», «душегуб».

**68.**

Когтем льва (лат.) – выражение, заимствованное из латинской пословицы *Ex ungue leonem, ex auribus asinum* (По когтям узнают льва, по ушам – осла).

**69.**

Заключительные слова стихотворения Ф. И. Тютчева «Святая ночь на небосклон вошла» (1846–1850):

**70.**

См. прим. 26.

**71.**

Иными словами, Кант доказал не существование Бога, а то, что люди нуждаются в вере в Бога; поэтому «религия ничем не отличается от морали по своему содержанию» (Кант И. Соч. в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 334).

**72.**

Из стихотворения В. И. Иванова «Пращур», написанного в Москве 30 декабря 1917 г. и впоследствии вошедшего в состав книги «Свет вечерний» (СС, III, 541–542).

**73.**

Другу дозволено (лат.).

**74.**

Так я хочу (лат.). – Источник выражения: Ювенал. Сатиры (VI, 223).

**75.**

Как чувствую и жажду, так и понимаю (лат.).

**76.**

«Переоценка всего ценного» – название книги Ф. Ницше. См.: Ницше Ф. Странник и его тень. Изд-во «Пор-Рояль», 1994.

**77.**

Изречение Теренция: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» («Самоистязатель», I, I).

**78.**

На «двенадцати таблицах» в 451–450 гг. до н. э. было впервые зафиксировано римское право (так наз. «Законы XII таблиц»).

**79.**

Номады – кочевники (в древности – скифы, сарматы, гунны и др.).

**80.**

Аретаизм – здесь стремление к самосовершенствованию, любовь к добродетели (от греч. «арете» – добродетель).

**81.**

См.: Ин. 6, 51–53.

**82.**

С сердцем бороться тяжело, ибо что оно хочет, то покупается ценой души (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. I. С. 233).

**83.**

Под Кунцевом была дача Гольденвейзеров – родственников М. О. Гершензона со стороны жены.

**84.**

То есть разнородность (от греч. heteros – иной и nomos – закон). Вильгельм Вундт (1832–1920) – нем. философ, психолог и фольклорист, один из основателей экспериментальной психологии.

**85.**

См. выше, прим. 14.

**86.**

«Индивидуация», «принцип индивидуации» – термин философии А. Шопенгауэра, который у Вяч. Иванова является противоположностью «соборности». «Дионисийское начало», согласно Ф. Ницше и Вяч. Иванову, есть «начало, разрушающее чары “индивидуации”» (СС, I, 718).

**87.**

Эта и следующая цитаты – из стихотворения В. И. Иванова «Кочевники красоты» из книги «Прозрачность» (СС, I, 778).

**88.**

Эта и следующая цитаты – из стихотворения В. И. Иванова «Земля» (из книги «Кормчие звезды») (СС, I, 550–551).

**89.**

Из стихотворения В. И. Иванова «Сон Мелампа», посвященного Максимилиану Волошину и включенному в книгу «Cor ardens» (СС, II, 295).

**90.**

Явление, отмеченное многими русскими мыслителями от П. Я. Чаадаева до В. В. Розанова и авторов «Вех». Чаадаев считал такое отсутствие чего-либо устойчивого и постоянного в русской жизни следствием «ленивой отваги» (См.: Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 329).

**91.**

В Саисе был храм Изиды, в котором лицо богини было скрыто под покрывалом. Снявший это покрывало «зрит истину», но – ценой жизни. На этот сюжет написаны стихотворение Ф. Шиллера «Саисское изваяние под покровом» и незаконченная повесть Новалиса «Ученик в Саисе».

**92.**

Вефиль (букв.: «Дом Божий») – место, где Иаков во сне увидел лестницу, которая «стоит на земле, а верх ее касается неба» (Быт. 28, 11–22).

**93.**

Из стихотворения В. С. Соловьёва:

**94.**

Из трагедии В. И. Иванова «Прометей». Пб., 1919 (действ. 2, явл. II). Цитируется неточно; см.: СС, II, 131. О «Прометее» Вяч. Иванова см.: Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 111–113; Лосева А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 282–287.

**95.**

Я сказал (лат.), то есть все необходимое сказано, больше говорить не о чем.

**96.**

См. прим. 74.

**97.**

Цитаты из стихотворения В. И. Иванова «*Taedium Phaenomeni*» из книги «*Cor ardens*» (СС, II, 305).

**98.**

Возможно, речь идет о С. Н. Булгакове, в книге которого «Свет невечерний» немало страниц уделено именно этой проблеме. См.: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 22–38, 88–93.

**99.**

Печатается по тексту: Гершензон М. О. Тройственный образ совершенства. М., 1918. Фрагмент «О ценностях» ранее публиковался в сб. «Ветвь» (апрель 1917). Составитель В. В. Сапов.

**100.**

Контаминация двух цитат, из которых только вторая несомненно принадлежит Анаксимандру: «Анаксимандр... началом сущих полагает бесконечное: из него все возникает и в него все уничтожается...» «А из каких начал вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды в назначенный срок времени» (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. I. С. 119, 127).

**101.**

«Неделимое» – буквальная русская калька с лат. *individum*, и греч. *a-tom*.

**102.**

Оджибуэи, оджибве – племя североамериканских индейцев, обитавшее к XVI в. на восточном берегу озера Верхнее. По уровню развития материальной культуры оджибуэи находились на стадии неолита.

**103.**

Санхониатон (XII–XI вв. до н. э.) – древнефиникийский мудрец, жрец, писатель, которого некоторые исследователи считают мифической фигурой.

**104.**

Орфей – в греческой мифологии певец и музыкант, наделенный магической силой искусства.

**105.**

«Хитрость разума» («List der Vernunft») – термин Гегеля, который в «Философии истории» писал: «Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред... Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов» (Гегель. Сочинения. М., Л., 1935. Т. 8, С. 32). О «хитрости разума» Гегель писал также в «Энциклопедии философских наук» (М., 1974, Т. 1. С. 397–398).

**106.**

«В начале было Слово...» – первый стих Евангелия от Иоанна. Гершензон полемизирует здесь с Фаустом. В сцене «Рабочая комната Фауста» в первой части трагедии Гёте передает размышления Фауста, приступающего к переводу Св. Писания:

**107.**

Заключительные строки «Фауста» Гёте:

**108.**

Чимборазо (Чимборасо) – потухший вулкан в Эквадоре, одна из величайших вершин в мире (6262 м).

**109.**

«Магический кристалл» – выражение А. С. Пушкина в 8 главе «Евгения Онегина»: